



***“Елисей, или раздраженный Вакх” В.И. Майкова –
как пародия***

© Л. А. КАЗАКОВА,
кандидат филологических наук

В отечественной литературе комическая поэма заявила о себе как самостоятельный жанр на рубеже 1760–1770-х годов, когда первые опыты русских писателей в этом роде (“Игрок ломбера” В.И. Майкова, “Бой стихотворцев” Я.Б. Княжнина, поэмы М.Д. Чулкова) увенчались созданием произведения, ставшего своего рода исходным пунктом дальнейшего жанрового движения. Появление поэмы Майкова “Елисей, или раздраженный Вакх” (1771) стало свидетельством того, что система комической поэмы в русской литературе сформировалась и обрела национально-самобытные черты. Дальнейшее развитие данного жанра происходило с “оглядкой” на этот текст – под знаком продолжения той “низовой” линии комического эпоса, основателем которой в нем выступил Майков, либо отталкивания от нее. Показательно, что споры о художественном достоинстве “Елисея” вышли далеко за пределы своего времени: живым явлением литературы поэма Майкова стала не только для В.П. Петрова и И.И. Хемницера, но и для А.А. Шаховского, А.А. Бестужева и А.С. Пушкина, которые обращались к опыту создателя “Елисея”, пытаясь очертить собственные эстетические предпочтения. В русской литературе комическая поэма стала своеобразной “экспериментальной площадкой” жанрово-стилевого поиска, исходной ступенью дальнейшего жанрового движения.

“Елисей, или раздраженный Вакх” возник в контексте литературной полемики поэтов сумароковской школы с В.П. Петровым, стремившимся разделить с Ломоносовым славу русского эпика и опубликовавшим в 1770-м году перевод первой песни “Энеиды” Вергилия – поэмы, посвященной истории легендарного героя Энея, после крушения Трои переселившегося в Италию с остатками своего народа, который объединился с латинами и основал город Альба Лонга.

По замыслу Петрова, его “Эней” должен был стать аллегорическим восхвалением царствования Екатерины II, представленной в поэме в образе карфагенской царицы Дидоны – основательницы могущественного города Карфагена, в котором оказался Эней во время своего путешествия к берегам Италии. Сумароковцы, которых не удовлетворила стилистическая концепция выполненного Петровым перевода, выступили с его резкой критикой. Наиболее ярким проявлением завязавшейся при этом полемики оказалась публикация поэмы Майкова, задуманной в качестве пародии на “Энея”, но вовлекавшей в орбиту пародирования и другие произведения Петрова. Майков осуждал его как поэта, совершившего в своем творчестве шаг назад от современного состояния литературы к временам схоластической риторики, отражением которой в поэме была нарочитая запутанность словаря и усложненность латинизированного синтаксиса, прочно связанные в сознании эпохи с именем В.К. Тредиаковского. Возникшая в богословской школе XVII века и поддерживавшаяся в стенах Московской славяно-греко-латинской академии, где в свое время учился Тредиаковский (а впоследствии Ломоносов и Петров), эта стилистическая норма воспринималась как архаичная уже в 1740-е годы, и ее возрождение в условиях 1760-х годов могло вызвать лишь недоумение и насмешки.

Исходная пародийная установка поэмы Майкова обусловила ее стилистический облик, который, вслед за М.М. Бахтиным, можно определить как “намеренный диалогизированный гибрид”. В стиле поэмы скрещиваются в ситуации борьбы два языка. В роли пародируемого выступает язык сочинений Петрова. Имитируя в “Елисее” их стилистику, доводя до абсурда их словарную изощренность и синтаксическую усложненность, Майков отбирает из них те фрагменты, в которых “естество себя” “хитро изломало” [1. С. 124].

Произведенный А.М. Кукулевичем обстоятельный текстологический анализ первой песни поэмы Петрова и “Елисея” показал, в чем состояло существо работы, проделанной Майковым с текстом “Энея” Петрова [2]. Поэт последовательно подменял высокие понятия и образы перевода “Энеиды” бытовыми, низкими, одновременно замещая при необходимости высокую лексику разговорной и просторечной. Тем самым высокий стиль Майков переводил на бытовую основу, добиваясь бурлескного эффекта (под “бурлеском” будем понимать поэтический прием, основанный на контрасте возвышенного и низменного и реали-

зованный как несоответствие содержания и стиля). Так, решенному в высокой стилистике зачину поэмы Петрова (“Пою оружий звук и подвиги героя <...> Повеждь, о муза, мне...” [3. С. 2]) соответствуют следующие строки из поэмы Майкова, в которых традиционные формулы высокой поэзии наполняются новым содержанием:

Пою стаканов звук, пою того героя,
Который, во хмелю беды ужасны строя <...>
О муза! Ты сего отнюдь не умолчи,
Повеждь или хотя с похмелья проворчи... [1. С. 120].

В обеих поэмах совпадают, с учетом комического смещения в “Елисее”, стихи, в которых дается описание столиц Юноны и Вакха.

В “Энее”:

Против Италии, где Тибр лил в море воды,
Вдали от Тирян град воздвигнут в древни годы,
Богатством славен был и браньми Карфаген,
Юноной всем странам и Саму предпочтен;
В нем скиптр ее, в нем щит хранился с колесницей:
Она намерила вселенныя столицей
Сей град произвести, коль есть на то предел;
Под особливым он ее покровом цвел. [3. С. 2–3]

В “Елисее”:

Против Семеновских слобод последней роты
Стоял воздвигнут дом с широкими ворота,
До коего с Тычка не близкая езда;
То был питейный дом названием “Звезда”,
В котором Вакхов ковш хранился с колесницей,
Сей дом был Вакховой назначен быть столицей;
Под особливым он его покровом цвел... [1. С. 120, 123]

Пародируя как отдельные стихи, так и целые фразеологические массивы перевода, Майков включает типические формулы высокой поэзии и клишированные образы в диссонирующий контекст, допускает смешение лексики разных иерархических рядов не только в пределах смыслового отрывка (например, в описании драки валдайских и зимогорских крестьян соединяются такие формы, как: *се, глас, помрачать, тягость, понт, престать*, с одной стороны, и *рожа, кулаки, пощечина, резнуть*, с другой), но и в границах словосочетания (*сей пьяница, собор пияниц, морщливое чело, пьяный зрак, вломиться предпринимлет*), нарушая сформулированное Сумароковым для комической поэмы требование “чистоты” стиля.

Нарочитое, неорганическое смешение разнотилевой лексики лежит в основе целого ряда сравнительных оборотов поэмы, по своей

структуре имитирующих эпосейные. Так, бегство ямщиков во время кулачного боя обрастает цепочкой “возвышающих” сравнений, создающих стилистический оксюморон:

Подобно яко лев, расторгнув свой запор,
Рыкает и бежит, бросая жадный взор,
Ко стаду робкому пасущейся скотины
В середине мягких трав прохладная долины,
Где бедненький его увидя пастушок,
Из рук трепещущих повергнув посошок,
Единым бегством живот свой избавляет <...>
Побегли ямщики, как робкие татары,
Когда на их полях блеснул российский меч... [1. С. 176]

Реализуя пародийную установку текста, поэт сталкивает высокий и низкий стили в их наиболее сгущенном, концентрированном выражении. Отдельным фрагментам он намеренно придает архаический колорит. В цитированном описании кулачного боя из возможных вариантов слова он выбирает те, которые несут на себе налет “книжности”: *яко, ко стаду, в середине, прохладная, бегствие, живот*. Одновременно с этим в поэме можно найти множество примеров “презренных” слов, которые, по Ломоносову, использовать “ни в каком стиле непристойно”. В основном это лексика, обслуживающая круг материально-телесных тем (*задница, понос, брага, скотина, рыло* и пр.). Ее присутствие в “Елисе” обусловлено генетической связью поэмы с традициями бурлеска в литературе предшествующего времени. “То же самое намечено уже у Сумарокова в его баснях, – писал Г.А. Гуковский. – Признак всех таких выражений – именно их назойливость, то, что они необычны, выисканы как специально грубые, залихватски-разговорные, “пьяные” речевые формулы. Перенапряжение того же приема найдем у Баркова” [4. С. 162].

В результате проделанной Майковым работы возник пестрый в стилистическом отношении “двуязычный” текст. Стилистические диссонансы обнаруживали пародийную интенцию поэмы, подчеркивая непригодность устойчивых форм высокой поэзии для отображения реальной жизни. Акцентируя их наличие в поэме, Майков неоднократно маркировал стилистические переходы словами-сигналами (“а попросту сказать”, “иль, внятнее сказать”) и развернутыми комментариями (“Но слог сей кудреват и здесь не очень кстати, Не попросту ль сказать...” [1. С. 176]).

При этом следует заметить, что по мере развертывания текста поэмы Майкова ее стилистика несколько изменяется. Связано это с тем, что вторая часть “Елисея” сильно отклоняется от сюжетной схемы “Энеиды”. Задержка с публикацией второй и последующих песен перевода Петрова (в них перед читателем предстала покинутая Дидона,

кончающая жизнь самоубийством, и это, естественно, нарушало начатую первой песнью “Энея” Петрова аллегория) заставила Майкова выстраивать дальнейший ход событий самостоятельно, исходя из специфики сложившегося уже к четвертой песне характера главного героя. По этой причине во второй части поэмы не только исчезает пародийное цитирование сочинений Петрова, но и утрачивает прежнюю остроту стилистическое напряжение, обусловленное резким столкновением в стиле “своего” и “чужого”.

Похождения ямщика Елеси оказались теперь интересны сами по себе, а не только как сниженная проекция странствий Энея, и потребовали адекватного языка для своего изложения. В его поисках поэт временами отказывается от бурлескной стилистики, нарушая одновременно сумароковские правила, согласно которым в комической поэме следовало применять “пренизкие слова” к изображению “высоких дел”, а “высокие слова” – к рассказу о “низких делах”. Для изложения обыденных событий Майков зачастую избирает разговорно-бытовой стиль, в котором “посредственная речь” (в терминологии Ломоносова, “средний штиль”), соединяясь с “низкой” лексикой, не противопоставляется ей. В таком стиле решен, например, рассказ о кулачном бое купцов с ямщиками, который, по правилам А.П. Сумарокова, должен бы быть выдержан в героических тонах эпоса:

Удары громкие по рожам раздаются,
ЛьетсЯ из носов кровавая река,
Побои чувствуют и спины, и бока <...>
Один соперника там резнул под живот,
И после сам лежит, повержен, яко скот... [1. С. 175]

Оттенок “высокости” (а вместе с ним и пародийная окраска) сохраняется в подобных фрагментах исключительно за счет синтаксического оформления фраз и александрийского стиха.

Таким образом, исходная пародийная установка “Елисея”, реализованная преимущественно в первых двух его песнях, стала причиной резкого столкновения “своего” и “чужого” в стиле. Во второй же части поэмы вследствие ослабления пародийного начала столкновение “высокого” и “низкого” перестало носить нарочитый, заданный характер и, уступив иным задачам, ушло на периферию. Здесь о бытовом герое поэт повествует, как правило, сниженным языком, соответствующим предмету описания. Отсюда в литературной перспективе просматривается возможность изображения героя из низовой социальной среды вне бурлескной стилистики и связанный с этим переход от задач осмеяния “низкой” природы и материально-бытового аспекта жизни к вопросу о способах их “серьезного” изображения, имеющего нейтральный эстетический смысл.

Литература

1. Ирои-комическая поэма. Л., 1933.
2. Кукулевич А.М. Майков // История русской литературы. Т. IV. Литература XVIII века. Ч. 2. М., Л., 1947. С. 201–226.
3. Вергилий Марон. Еней, героическая поэма. Перевод В. Петрова. СПб., 1770.
4. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. М., 2003.

Псков





Образ “дали” в поэзии А.С. Пушкина

© И. А. ОРЛОВА

В русской литературе В.А. Жуковский, пожалуй, первым в стихотворении “Путешественник. Песня” (1809) заговорил о том, что вымышленная мечта никогда не воплощается в реальность, “здесь не будет вечно там”:

Я в надежде, я в смятенье;
Предаю себя волнам;
Счастье вижу в отдаленье;
Все, что мило, – мнится – там!
Ах! В безвестном океане
Очутился мой челнок;
Даль по-прежнему в тумане;
Брег невидим и далек.
И вовеки надо мною
Не сольется, как поднесь,
Небо светлое с землею...
Там не будет вечно здесь.

Даль – это та перспектива, у которой нет границ. Романтизм всегда стремится туда, где скрыто все таинственно манящее. Даль притягивает, но чем – остается загадкой.

Даль – это также направление бесконечного влечения, не случайно у П.А. Вяземского даль соотнесена с покрывалом:

Даль – невеста под фатою,
Даль, таинственная даль.
Сочетаешься с тобою
И в жене невесты жаль.

Вариантом дали как пространственной координаты, ориентирующей и организующей позицию лирического “я”, является излюбленный Пушкиным образ *далекого берега*. Поэт использует его не только в прямом, но и в расширенном смысле: это область мира, обладающая силой притяжения. Например, в элегии “Погасло дневное светило” (1820)

“берег отдаленный” – это не троп, а тот берег Крыма, к которому устремлен в своем бегстве герой:

Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаям упоенный...

В стихотворении “Не пой, красавица, при мне...” (1828) выражение “берег дальный” звучит более отвлеченно:

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

В “Монастыре на Казбеке” (1829) выражение “далекий, возжеленный брег” является собственно метафорой, обладает таинственной притягательной силой:

Далекий, возжеленный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..

Лирическое “я” осознает себя на пороге дали, которая становится объектом напряженного романтического влечения. В романтизме часто встречается образ странника. “Я” стремится в другое время и другое пространство. В реальности герой не может преодолеть дистанцию между *здесь* и *там*, и странствие осуществляется только мысленно.

В стихотворении Пушкина “Редет облаков летучая гряда” (1820) лирический герой мысленно переносится в дорогое для него место, “где все для сердца мило”. Это спокойное странствие, лишенное тоски, оно связано с воспоминаниями:

Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень –
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

Там удалено от лирического “я” и во времени, и в пространстве. Посредником между “я” и *там* в этом стихотворении является ночь, благодаря которой в душе героя пробудились воспоминания, и *там* “переносится” в *здесь*.

В другом пушкинском тексте “Ненастный день потух” (1824) дистанция между *здесь* и *там* преодолевается уже не через посредничество природы, а благодаря мысленному странничеству:

Далеко, там, луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами...

Многократный повтор слова *там* локализует лирическое “я” в некоем *здесь*, противопоставленном далекому *там*. Однако в интенции “я” устремлено к *там* и соприсутствует в нем. Иллюзия этого соприсутствия создается благодаря прямому обращению к возлюбленной: “Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен”. Но все же из-за уточняющего вопроса “не правда ль” ощущается неполнота соприсутствия в *там*. Странствие остается неосуществленным.

В стихотворении Пушкина 1821 года “Кто видел край, где роскошью природы...” об актуальном для “я” месте, то есть о *здесь*, нам ничего не известно. Лирическое “я” никак себя не локализует. Все строки посвящены недоступному герою *там*, с которым связаны самые светлые воспоминания. *Там* становится объектом мысленного странствия:

Златой предел! любимый край Эльвины,
К тебе летят желания мои!
Я помню скал прибрежные стремнины,
Я помню вод веселые струи...

В наброске “Я знаю край: там на берега...” (1827) лирическое “я” также никак не локализует себя в пространстве, а сразу соотносится с неким дистанцированным *там*:

Я знаю край: там на берега
Уединенно море плещет;
Там редко падают снега,
Безоблачно там солнце блещет
На опаленные луга...

Особенно показателен отрывок “Там на берегу, где дремлет лес священный...” (1820–1826). Он сразу начинается с помещения действия в некое *там*:

Там на берегу, где дремлет лес священный,
Твое я имя повторял;
Там часто я бродил уединенный
И в даль глядел... и милой встречи ждал.

Первое *там* дано как знакомое лирическому герою пространство, а вот второе *там* – это неопределенная даль, бесконечность, куда устремлен герой.

В стихотворении “К морю” (1824) странствие лирического “я” также остается неосуществленным. Пушкин изображает своего героя стоящим на берегу, на пороге стихии, но этот порог он так и не переступает:

Ты ждал, ты звал...я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.

Замысел бегства – “И по хребтам твоим направить Мой поэтический побег” – в каком-то смысле осуществление в себе идеального героя, стремление стать таким же свободным, как дух стихии:

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

Если в стихотворении “К морю” замысел бегства отходит на второй план, сменяясь более совершенным замыслом оставить стихию в себе, в своей памяти, то в стихотворении “Завидую тебе, питомец моря смелый...” (1823) есть только интенция к странствию, но нет ее реализации. Герой остается на пороге дали, не переступая ее:

Дай руку – в нас сердца единой страстью полны.
Для неба дального, для отдаленных стран
Оставим берега Европы обветшалою;
Ищу стихий других, земли жилец усталый;
Приветствую тебя, свободный океан.

Тема неосуществимого странствия звучит в стихотворении “Узник” (1822). Здесь проводником в свободную, но запретную стихию воздуха является орел:

Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: “Давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..”

В этом стихотворении как бы запечатлена градация романтических ценностей: от горы и моря к воздушному пространству, от наименьшей – к абсолютной свободе.

Лирический герой Пушкина неустанно стремится покинуть место своего пребывания, и все его мысли направлены на это:

Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Гораздо более важным, чем внешний мир, для романтиков является мир души. Даль – не только ключевое понятие в организации внешнего романтического пространства, она может быть переосмыслена метафорически, как явление внутреннего мира, как “даль души”. Например, поэт пушкинского круга В.К. Кюхельбекер в стихотворении “Поэты” (1820) передает впечатления от песен Оссиана как воображаемый уход души в некую даль:

Он страшен дикими мечтами;
Он песней в душу льет печаль;
Он душу погружает в даль
Пространств унылых, замогильных!

Пушкин в стихотворении “Рифма, звучная подруга” пишет об этом так:

Ты ласкалась, ты манила
И от мира уводила
В очарованную даль.

В этом контексте “очарованная даль” – это не место, а душевное состояние лирического “я”, открывающее бесконечную перспективу мечты, воображения.

“Бездна” в христианской традиции и в поэзии Ф.И. Тютчева

© Т. А. КОШЕМЧУК,
кандидат филологических наук

Образ Ф.И. Тютчева как поэта-пантеиста, заимствованный из нескольких дореволюционных статей [1], был удобен атеистической советской доктрине и активно утверждался целым рядом крупнейших филологов: Л.В. Пумпянским, Н.Я. Берковским, Б.Я. Бухштабом, К.В. Пигаревым, Б.М. Козыревым и другими. Но представление о пантеизме Тютчева в современных серьезных исследованиях подвергается существенной корректировке [2].

Действительно, невозможно для поэта, искушенного в философии, мыслить Бога одновременно как Троидную Личность, Творца мира и Промыслителя – и как безличного духа. Нигде в стихах Тютчева мы не найдем размышлений о тождестве природы и бога в духе пантеизма или отрицания Бога-Творца.

Образ бездны (в библейской тональности), или хаоса (в античной) является одним из самых существенных при размышлении о мировоззренческих основаниях поэзии Тютчева. Именно на него ссылаются чаще всего исследователи, утверждающие тютчевский пантеизм: погружение в бездну разве не есть пантеистическое растворение в безличном стихийном мире природы? Стоит, однако, пристально рассмотреть этот образ в его многообразных коннотациях.

В качестве предваряющего соображения отметим, что немногие аргументы в пользу пантеизма достаточно зыбки: это влияние на Тютчева натурфилософии Шеллинга; во-вторых, так называемое “воспевание” природы; в-третьих, обилие языческих образов в лирике поэта. Первое утверждение неверно: юность Тютчева и его обращение к философии совпали с поворотом Шеллинга к христианству, а к моменту знакомства Тютчева с Шеллингом философ стоит на позициях религиозных, так что их общение могло лишь углубить христианскую проблематику в сознании поэта. Второе возникает лишь из незнакомства с христианским пониманием природы. Христианские и пантеистические взгляды на нее расходятся, прежде всего, в идее тварности мира. Пантеизм как отождествление бога и мира основывается на идее вечного

порождения природы безличным духом. Ощущение ее божественности и восхищение ею – общее следствие из обеих концепций бытия. Но именно для христианина мир является истинным чудом, восхищение им связано с глубокой благодарностью Творцу. Наконец, обилие античных образов в ранних стихах поэта преувеличено: вопреки мнению Б.М. Козырева, утверждавшего, что в них нет христианских образов, можно назвать около 40 стихотворений до 1850 года, в которых употребляются образы из христианского контекста, тогда как языческие образы встречаются не более чем в 20 стихотворениях того же периода [3].

Тематическая линия бездны-хаоса в творчестве Тютчева обычно интерпретируется как языческая и пантеистическая.

В Библии слово “бездна” имеет целый ряд смыслов. Прежде всего, это то, что бездонно, без дна. Чаше всего водная бездна, бездонная глубина, поскольку безвидная земля была покрыта “водами великой бездны” (Ис. 51: 10). Это также бездна верхних вод, которая разверзается во время потопа: “...разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились” (Быт. 7: 11). Бездонные просторы земные, небесные, морские создаются в процессе творения мира. Так Премудрость говорит: “Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою” (Прит. 8: 24).

Бездна есть также беспредельность и непостижимость Бога, одеяние Божества, беспредельное знание, непостижимая мудрость и сила. В Писании не раз говорится впрямую о бездне всемогущества Божия: “судьбы Твои – бездна великая!” (Пс. 35: 7). О том же и в Новом Завете: “О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!” (Рим. 11: 33). Святые отцы часто, говоря о непознаваемости Бога, используют образ бездны: бездна Бога-Отца – это тот мрак, который встретил Моисей на горе Синай.

Слово *бездна* употребляется и в значении великого множества несчастий и бед, которые обрушиваются на человека, земные бездны символически означают глубины искушений и падений: “Ты... оживлял меня и из бездн земли опять выводил меня” (Пс. 71: 20). Этот образ несет в себе в христианской традиции инфернальный смысл. О волнах, восходящих до небес и нисходящих до бездн (“Восходят до небес, нисходят до бездны” – Пс. 106: 26), говорится в комментарии Евфимия Зигабена [4] не только как о морской буре: волны вздымаются, потому что “восстал дух бурею”. Дух, поднимающий волны, по словам св. Григория Нисского, есть бес, вздымающий искушения и страсти, бросающий в бездну, “а под бездною во многих местах Писания разумеется жилище демонов” [5].

Бездна в некоторых местах Библии становится синонимом ада, преисподней: “Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну” (Пс. 87: 7). В Новом Завете смысл слова “бездна” – это место злых ду-

хов, ад: “И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездны” (Лк. 8: 31). В этом значении слово “бездна” как бездна греха и зла постоянно употребляется в святоотеческих писаниях: как только мы восстанем на грех, он, по словам св. Иоанна Лествичника, подымается, как тысячеглавый змей, “и вся бездна зла, таившаяся в человеке, возмещается, как вихрь” [6]. Бездна, мрак, неустроенность, отсутствие порядка, ужас, преисподняя – эти понятия, столь частые в Библии, тесно связаны, они образуют синонимические ряды с инфернальным оттенком смысла: “Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну” (Пс. 87: 7), “в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма” (Иов. 10: 22). В одной из молитв две бездны сопрягаются: пребывая в бездне греховной, человек призывает бездну Божьего милосердия.

Образ античного “древнего Хаоса” покрывается библейским представлением о бездне: античная мысль остановилась на созерцании изначального хаоса, не ведая идеи сотворения мира. Бездна как неразделенность света и тьмы в Библии есть досветное, промежуточное состояние в процессе творения. Хаос, в категориях Шестоднева, есть свойство безвидной и пустой земли первого дня творения, довременная бездна, из которой образуется все. Хаос позднейших стадий мироздания, синоним слова “беспорядок” в христианской традиции, есть начало, связанное с помраченностью падшего мира.

У Тютчева слово “бездна” звучит многократно. В первый раз – в стихотворении “К Н.” (1824), и именно в христианском смысле: акцентирован инфернальный оттенок образа: бездна – это адская бездна. Небесный свет “в ночи греха, на дне ужасной бездны... как пламень адский, жжет” (Курсив здесь и далее наш. – Т.К.). Далее, в “Видении” (1829) у Тютчева появляется образ хаоса, он явно связан с библейской темой творения мира: гармонии и величию ночного неба противопоставлена сгущенность ночи в нижней сфере, напоминающая довременный хаос первых дней творения.

Стихотворение “Последний катаклизм” (1830) тоже своего рода видение; его образная доминанта – Божий лик, отражающийся в водах, тот же образ водной бездны из Шестоднева: “Все зримое опять покроют воды, И Божий лик изобразится в них” [7]. Это лик Творца мира, Дух Которого носился над бездной. Бездна вод первого дня творения. Досветное бытие может повториться, вернувшись в последнем земном катаклизме (потопе), – такова своеобразная тютчевская фантазия о конце света.

В стихотворении “Лебедь” (конец 1820-х) “двойная бездна” – двойная пространственная бездонность, окружающая лебедя, бездна сияющая, дольная и горняя, озаренная светом звезд. Она же – в стихотворении “Как океан объемлет шар земной...” (1830): волшебный челн уносится приливом “в неизмеримость черных волн”, и небесный свод

отражается в водах, так что плывущие в челне “пылающую бездной Со всех сторон окружены”.

“Сон на море” (1833) – это сон во время морской бури: “Я в *хаосе звуков* лежал оглушен, Но над *хаосом звуков* носился мой сон”. Здесь тоже две бездны: морская, водная бездна с инфернальным оттенком, и “горная”, почти новая земля и новое небо (“Земля зеленела, светился эфир...”). Хаос связан с морской бурей, она одно из проявлений темных сил бытия, как и у святых отцов: бушующие воды есть проявление демонического начала. Отголосок того же смысла и в стихотворении “Ты, волна моя морская...” (1852): “...мятешься ты и бьешься В одичалой *бездне вод*...”.

С образом морской бездны связано стихотворение “Море и утес” (1848), напрямую выявляющее в бушующем море адскую силу: “*Ад ли, адская ли сила* Под клокочущим котлом *Огнь геенский* разложила...?”. Соответствие со святоотеческой интерпретацией образа морской бури как бездны греха, искушений и бедствий, обрушивающихся на корабль спасения в странствии по морю жизни, здесь полное. Действительно, волны уподобляются темным силам, они бьются “с ревом, свистом, визгом, воем...”. И этой адской буре противостоит утес, “мирозданью современный”, не только символ России, противостоящий революционной буре, но шире: образ веры, божественного начала мироздания, которое неодолимо для адских сил. Ибо, по словам свт. Григория Богослова, змий о крепость Бога “сокрушил свою злобу, как шумное море сокрушается о твердый утес” [8] – так святитель использует образы моря и утеса, говоря о тщетности борьбы дьявола с Богом.

“Как сладко дремлет сад темно-зеленый...” (1836) – это стихотворение завершается образом хаоса: “Откуда он, сей гул непостижимый? Иль смертных дум, освобожденных сном, Мир бестелесный, слышный, но незримый, Теперь роится в *Хаосе* *ночном*?...”. Здесь, казалось бы, нет горного, но лишь “смертные думы”, которые в этом загадочном переживании поэта воспринимаются как звук, “гул”, и они сливаются с ночным хаосом, “роются” в нем (“рой за роем” – так мчатся бесы в пушкинском стихотворении). Но сам мир ночи прозрачен и светел: это ночь, сияющая золотым месяцем и звездами. Хаос ночной сопригорожен не звездной ночи, но миру людских дум, выпущенных на свободу – вне контроля разумного дневного сознания; хаос есть реальность внутреннего мира человека, темного и беспорядочного.

Древний Хаос – наиболее близкий античным о нем представлениям, связанный с беспорядочностью бурных порывов природы, описан в стихотворении того же года – “О чем ты воешь, ветер ночной...”, в его второй строфе, столь насыщенной яркой эмоцией (четыре восклицательных знака!) – здесь и изумление, и ужас, и попытка найти защиту от того, что рвется в душу, и обратное – жажда поддаться искушению, раствориться в стихии: “О, страшных песен сих Не пой Про древний Ха-

ос, про родимый!", "мир души ночной... с беспредельным жаждет слиться!..", "О, бурь заснувших не буди – Под ними Хаос шевелится!..". Здесь ветер поет песни – про созидание мира из хаоса? Бог-Творец мыслим здесь или античный демиург? Думается, стихотворение не дает ответа на эти излишне конкретные рассудочные вопросы. Так или иначе, ветер вызывает ассоциацию с древним хаотическим состоянием мира, представление о котором в одной из граней едино для античности и для христианства. В самой же эмоции страха и тяги ("страшные" песни – "любимая" повесть) по отношению к хаотически-бурной стихии нет ничего специфически античного, скорее, наоборот, здесь искушение для христианина и одновременно страх поддаться ему, и лишь последние строки – остановка, опаматование: после экстатичности восклицания и паузы отточия (*"Жаждет слиться!.."*) – *"О, не буди!.."*, ведь страшен шевелящийся хаос. "Любимая повесть" в звуке ветра есть искушение: отозваться на темный зов своей темнотой. В этом круге идей, язычеству отнюдь не близких, мы не найдем и кульминаций христианской мысли, ибо здесь рефлексия поэта не распахивается в иерархически высшие сферы, пребывая в замкнутой на себя темноте земной ночи, здесь небезопасное "исследование бездны", как предупреждали святые отцы, – без прочной опоры аскетики.

В том же 1836 году поэт описывает и светлую бездну – в безграничности небесных просторов: "И птицы реют голосисто В воздушной бездне голубой" ("И гроб опущен уж в могилу...").

Кроме бездонности пространства поэт переживает и бездонность времени. Она кажется устрашающей: даже краткие промежутки времени кажутся бездной, ибо и над ними не властен человек: "Кто смеет молвить: до свиданья – Чрез бездну двух или трех дней?" ("Увы, что нашего незнанья...", 1854).

Но еще более страшен для человека в своей непостижимости мир сверхземных существ, небесных иерархий и темных духов. О мире духовном говорится в стихотворении "День и ночь" (1839). На "мир таинственный духов" наброшен покров дня – речь идет именно о мире высших духов, а не о ночи, как обычно понимаются первые строки стихотворения, так что "безымянная бездна" есть непознанный человеком бездонный духовный мир. Неведомое, не имеющее имени, скрыто от человека златотканым покровом дня, земным светом, ибо созерцание духов было бы непосильно для человека. Об этом многократно говорится в святоотеческих писаниях: если бы нам открылись высшие существа, мы были бы испепелены мгновенно, как будто бы оказались ввержены в печь огненную. Но поэт чувствует шевелящийся хаос, сама ночь для него источает восприятия, так что в долгием сквозит горнее, ночь обнажает бездну "с своими страхами и мглами". Между духами и человеком "преграды" нет – "вот отчего нам ночь страшна".

Так что в этом стихотворении речь идет о взаимодействии души человека и существ непознанного им мира иного – “*безымянной*” бездны. Эта главная тема просто не замечается исследователями, не учитывающими христианский контекст тютчевской поэзии, и тогда страх ночи объясняется лишь одиночеством человека [9]. При этом приводимая мысль В. Соловьева о хаосе как злом начале у Тютчева предельно упрощается: поэтa влечет к себе непостижимое, которое воплощается в понятии “хаос”. Нет, непостижимое для поэта – это не только хаос, это Бог и мир духов, светлых и темных, это и сама земная природа и тайна ее создания, само время как земная реальность, это и глубина человеческой души. Со всеми этими непостижимыми сущностями бытия связано представление о бездне-бездонности.

В стихах Тютчева второго периода творчества христианские смыслы образа бездны – “темной пропасти” – становятся еще более очевидными. В стихотворении “Святая ночь на небосклон взошла...” (1850) поэтом описан опыт души, переживающей свою богооставленность в мире: *ночь свила “покров, накинутый над бездной”*, и человек “...стоит теперь и немощен, и гол Лицом к лицу пред пропастью темной...”. Здесь повторяется образ светлого покрыва дня. В описанной ситуации человек без покровов в своей греховной сути предстоит перед миром тьмы: “...В душе своей, как в бездне, погружен” и “узнает наследье родовое”, то есть постигает, что тьма, бездна, зло есть родовое, всего человеческого рода наследье, бездонный первородный грех.

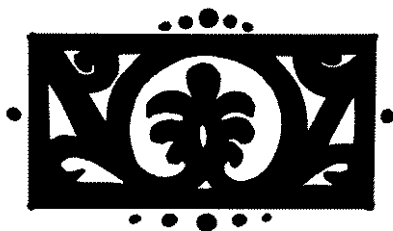
Еще один аспект в тютчевской теме бездны-ночи-хаоса мы обнаружим в сонете историософской тематики “Уж третий год беснуются языки...” (1850). От сил зла, тьмы и беспорядка есть спасение: они не могут сокрушить утес веры – их может одолеть Христова сила. О преодолении бездны идет речь в этом сонете. Бездна связана со стихией зла и в одном из поздних стихотворений Тютчева “Пожары” (1868): “Дым за дымом, *бездна дыма* Тяготее над землей”. В описании пожаров ощутим символический подтекст: огонь – “стихийная вражья сила”, перед которой человек беспомощен. И в Предании дух зла сравнивается с дымом, который закрывает истину, и, подобно дыму, зло в человеке устремляется в любом направлении под воздействием ветра.

В заключение отметим образ бездны как *бездны небытия*. Впервые этот образ мы обнаружим в стихотворении “Смотри, как на речном просторе...” (1851): льдины, плывущие по реке и тающие, в конце концов “*солятся с бездной роковой*”. В позднем стихотворении “От жизни той, что бушевала здесь...” (1871) природа свои создания приветствует “всепоглащающей и миротворной бездной”.

Все эти образы невозможно воспринимать вне христианского контекста. И лишь единственный аспект образа – бездна как исчезновение – не соответствует в этой скорбно-пессимистической ноте духу христианского миропонимания.

Литература

1. Франк С.Л. Космическое чувство в поэзии Тютчева // Русская мысль. 1913. Кн. 11; Брюсов В.Я. Ф.И. Тютчев. Критико-биографический очерк // Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. СПб., 1913; Мережковский Д.С. Две тайны русской поэзии // Мережковский Д.С. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. М., 1991.
2. Тарасов Б.Н. Тютчев и Паскаль // Русская литература. 2000. № 4; Селезнев А.И. Лирика Ф.И. Тютчева в русской мысли второй половины XIX – начала XX в. СПб., 2002.
3. Кошемчук Т.А. “Искушения тварным” в натурфилософских стихах Тютчева // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 4. Петрозаводск, 2005.
4. Толковая Псалтырь Евфимия Зигабена. Изъясненная по святоотеческим толкованиям. М., 1993.
5. Григорий Нисский св. Большое согласительное слово, разделенное на сорок глав // Мистическое богословие восточной церкви. М., 2001. С. 187.
6. Цит. по: Жизнь пустынных отцов. Творение пресвитера Руфина. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1898. Объяснительные примечания свящ. М. Хитрова С. XXIV.
7. Размышляя об этом стихотворении, Б.М. Козырев утверждает, что языческий пантеизм Тютчева не нарушается здесь: “Божий лик” в этих стихах не христианский образ Бога, но образ солнца, отраженного в воде (Козырев Б.М. Письма о Тютчеве // Лит. наследство. Т. 97: Федор Иванович Тютчев. Кн. 1 М., 1988. С. 89). К.В. Пигарев усматривает здесь апокалиптический характер образности (См.: Пигарев К.В. Романтическая природа в ее отношении с живописью // Европейский романтизм. М., 1973).
8. Григорий Богослов свт. Избранные слова. М., 2002. С. 135.
9. Маймин Е.А. Русская философская поэзия. М., 1976. С. 158.



Минута, мгновение... у Достоевского

© М. П. ГАЛЫШЕВА

В мире Достоевского представлены две крайности переживания и ощущения времени: с одной стороны, это миг, минута внутренней интенсивности, напряжения, то есть очень маленький временной промежуток, с другой – потерявшие счет длинные временные отрезки каторги, подполья, сна, болезни. Его герои то остро чувствуют каждую секунду, в одной минуте ощущают целую вечность, то пропускают годы, за которые, как правило, ничего не меняется. Катастрофическими и действительно значимыми “отрезками”, временем перелома, “вдруг” оказываются минуты и мгновения – они обозначаются точно в ответственные моменты и кульминации произведений. В данной статье мы попробуем проанализировать использование Достоевским слов-синонимов, обозначающих эти краткие временные промежутки: *минута*, *мгновение*...

Прежде всего, обратимся к слову *минута*. Сразу обращает на себя внимание тот факт, что именно оно (и в меньшей степени синонимичные ему *миг*, *мгновение*, *момент*) является основной лексической единицей в произведениях Достоевского как просто в количественном отношении, так и с точки зрения психологического значения, философско-смысловой нагруженности. Чаще всего эта “минута” употребляется не в собственно временном значении – как число делений, пройденных минутной стрелкой на циферблате часов. Минута может восприниматься как час; ночь может длиться, как минута. Писателю и его героям часто не важно точное количество этих минут и мгновений; это не столько временное, сколько психологическое обозначение определенного состояния или цельного ощущения, которое овладевает героем и описывается Достоевским во временных терминах.

Об идее-чувстве Кириллова говорится следующее: “Есть минуты, вы доходите до *минут*, и время вдруг останавливается и будет вечно” [1. Т. 10. С. 188] (Курсив здесь и далее наш. – М.Г.). Постепенно слово *минута* у Достоевского становится своеобразным авторским клише

для обозначения психологически напряженных состояний, охватывающих человека целиком. Иван так говорит о настроении Катерины Ивановны: "...у другой эта *минута* лишь вчерашнее впечатление, и только минута, а с характером Катерины Ивановны эта *минута* – протянется всю ее жизнь" [Т. 14. С. 173].

Отметим, что такое психологическое значение слова следует отличать от собственно временного отсчета минут по часам, как, например, в сцене самоубийства Матрешы Ставрогин тщательно отсчитывает положенные минуты. Но в обоих случаях время актуализируется именно в кризисные моменты. Симптоматично также, что отсчет времени в случае со Ставрогиным не мотивируется никакими внешними обстоятельствами и необходимостью, поскольку в кризисной ситуации он начинается как бы сам собой, когда ускоряется работа сознания и человек сильнее ощущает реальность – и это ощущение передается через обостренное чувство времени: "Через *минуту* я вновь посмотрел на часы и заметил время как можно точнее. Для чего мне нужна была тогда эта точность – не знаю, но вообще в ту *минуту* я все хотел замечать; так что все помню теперь и вижу, как сейчас. <...> Я вдруг выхватил часы. Прошло двадцать *минут* с тех пор, как она вышла. Но я решился подождать еще ровно четверть часа. Я задал себе это время [Т. 12. С. 113]. "Я вынул часы: доставало *трех минут*; но я все-таки их высидел, хотя сердце билось до боли" [Т. 11. С. 19].

Устойчивыми становятся сочетания: "такая минута", "странная минута", "моя минута". Нередко сама минута провоцирует героев на поступок, и многие действия совершаются под воздействием "минуты". Так, Неточка Незванова вспоминает: "Я знала, что я почти преступление сделаю, прочитав это письмо; но *минута была сильнее меня!*" [Т. 2. С. 240]. Ростовщик в "Кроткой" случившееся тоже во многом объясняет "пятью минутами" своего опоздания. У Алеши в "Братьях Карамазовых" "такая минутка" вышла, когда провидение «сокрыло <...> свой перст "в самую нужную *минуту*"» [Т. 14. С. 307].

Минута связана у героев с такими сильными переживаниями, что остается в памяти на всю жизнь – при том что очень легко могут забываться целые годы. Минута, когда Раскольников позвонил в дверь старухи, "отчеканилась в нем навеки". При уходе Раскольникова от матери и сестры он и Разумихин "с *минуту* <...> смотрели друг на друга молча. Разумихин всю жизнь помнил *эту минуту*" [Т. 6. С. 240] молчаливого признания Раскольникова в совершенном убийстве.

Минута обострения сознания соприкасается с вечностью; для героя "Белых ночей" "как будто *одна минута* должна была продолжаться целую вечность и словно вся жизнь остановилась..." [Т. 2. С. 129]. Минутное переживание кардинально меняет строй души: "Богатым где: те всю жизнь такой глубины не исследуют, а мой Илюша в ту самую *минуту* на площади-то-с, как руки-то его целовал, в ту самую *минуту* всю

истину произошел-с. Вошла в него эта истина-с и пришибла его навеки-с” [Т. 14. С. 187], – говорит капитан Снегирев в “Братьях Карамазовых”.

“Такая минута” становится синонимом напряженного состояния духа и интенсивности переживания; в “такую минуту” эта интенсивность оказывается на грани исполнения и осуществления. Минута становится моментом прыжка в бесконечность, приближения к Богу; в минуту совершается, по словам Кириллова, осуществление райской гармонии на земле. Старец Зосима учит, что относительно существования будущей жизни доказать ничего нельзя, “убедиться же возможно <...> опытом деятельной любви. <...> По мере того, как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей” [Т. 14. С. 52].

Однако на земле такое состояние может длиться лишь минутами: только минутами, по признанию госпожи Хохлаковой, она чувствует “в себе непреодолимую силу” перевязывать и обмывать гнойные раны и язвы. Но и в эти минуты может произойти касание к вечности: “Но предрекаю, – говорит Зосима, – что в ту даже самую *минуту*, когда вы будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря на все ваши усилия, вы не только не подвинулись к цели, но даже как бы от нее удалились, – в ту самую *минуту* <...> вы вдруг и достигнете цели и узрите ясно над собою чудодейственную силу Господа...” [Т. 14. С. 54]. Таинственный посетитель в записках старца тоже говорит: “Разом ощутил в душе моей рай, только лишь исполнил, что надо было” [Т. 14. С. 283].

“Такая минута” выявляет экзистенциальную сущность человека. Смердяков, принимая участие в разговоре о мучениках за веру, заявляет: “Ибо если бы даже кожу мою уже до половины содрали со спины, то и тогда по слову моему или крику не двинулась бы сия гора. Да в *эту* *минуту* не только что сумление может найти, но даже от страха и самого рассудка решиться можно <...> А, стало быть, чем я тут выйду особенно виноват, если, не видя ни там, ни тут своей выгоды, ни награды, хоть кожу-то по крайней мере свою сберегу?” [Т. 14. С. 121].

Минуты для героев часто становятся роковыми; по духовному опыту, аккумулируемому в них, они могут быть более насыщенными, чем более крупные временные единицы. Типична для мира Достоевского мысль, высказанная Неточкой Незвановой: “Есть *минуты*, в которые переживаешь сознанием гораздо более, чем в целые годы” [Т. 2. С. 179]. В “Идиоте” Достоевский помещает очень автобиографический рассказ о двадцати минутах человека, приговоренного к “смертной казни расстреливанием”, о том, что он “никогда ничего из *этих минут* не забудет”, “что *эти пять минут* казались ему бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в *эти пять минут* он проживет столько жизней” [Т. 8. С. 52].

Там же на эшафоте приговоренный к казни мечтает: “Что если бы воротить жизнь, – какая бесконечность! <...> Я бы тогда *каждую мину-*

ту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!" [Т. 8. С. 52]. Однако ему не удалось воплотить свой идеал и жить, каждую минуту "отсчитывая счетом". На земле невозможны такие временные трансформации. Мышкин это понимает, но одновременно не может расстаться с надеждой на такую возможность: "Да, почему-нибудь да нельзя <...> мне самому это казалось... А все-таки, как-то не верится..." [Т. 8. С. 53]. Князь высказывает здесь свою сокровеннейшую мечту. Достоевский не торопится расставить точки.

Следующая по значимости временная единица для Достоевского – *мгновение*. Слово *мгновение* употребляется реже, чем *минута*, менее нагружено философско-психологическими смыслами за счет усиления чисто временных значений: в отличие от минуты, оно поддается измерению в секундах и минутах. В мире Достоевского у "мгновений" разная протяженность, но, как правило, оно короче минуты (за исключением "Кроткой", где продолжалось около десяти минут). Хотя *мгновение*, несомненно, имеет психологические коннотации, оно чаще встречается в контекстах фабульного времени, необходимого для построения интриги и усиления драматизма повествования. Мгновение – это время стремительной смены событий – например, так показана сцена неудавшейся попытки самоубийства Ипполита: "Он быстро схватил со стола бокал, рванулся с места и в одно мгновение подошел к сходу с террасы. Князь побежал было за ним, но случилось так, что <...> в это самое мгновение Евгений Павлович протянул ему руку, прощаясь" [Т. 8. С. 348]. Вообще, как и в случае с *минутой*, в кульминационные моменты действия частота использования слова *мгновение* возрастает: из критических мгновений состоит описание встречи двух соперниц в "Идиоте", преступление Раскольникова, скандальная сцена в гостиной Варвары Петровны Ставрогиной в день приезда Nicolas. Скандальный инцидент между Настасьей Филипповной и офицером с плетеной тросточкой на вокзале произошел "в одно мгновение". "В это мгновение..." – типичный для Достоевского прием ввода на сцену персонажа, так же предваряются скандальные ситуации.

В метафизическом смысле *мгновение* у Достоевского, в целом, близкое по значению к *минуте*, оказывается более нейтральным; оно описывает психологическое время души, а не духа. Мгновение – это не момент приближения к Богу: в психологическом смысле оно чем-то сродни эпилептическому припадку. Событие мгновения бывает событием на грани – скандала, разрыва, припадка. Так, Мышкин на вечере у Епанчиных, разбив вазу, боится наступления своего "мгновения" и скандала.

Мгновение, подобно минуте, оказывается ненормальным временем очень интенсивного переживания и надолго остается в памяти; здесь речь может идти о синонимических отношениях этих временных еди-

ниц. “В Москве им [Мышкину и Рогожину] случалось сходиться часто и подолгу, было даже *несколько мгновений* в их встречах, слишком памятно запечатлевшихся друг у друга в сердце” [Т. 8. С. 171]. Как и минута, мгновение может выражать внезапную идею-чувство. О мысли самоубийства в “Кроткой” говорится: “Приди я за пять минут – и *мгновение* пронеслось бы мимо, как облако, и ей бы никогда потом не пришло в голову” [Т. 24. С. 34]. В том же значении появляется “мгновение” в “Братьях Карамазовых”: “Было одно *мгновение* в пути, что ему вдруг захотелось остановить Андрея, выскочить из телеги, достать свой заряженный пистолет и покончить все, не дождавшись и рассвета. Но *мгновение* это пролетело как искорка” [Т. 14. С. 370]. Мгновение, в отличие от минуты, в мире Достоевского чаще означает что-то мимолетное, чувство, которое не ведет к исполнению, а свидетельствует о какой-то мелькнувшей, но нереализованной возможности. Часто встречается оборот *еще мгновение – и что-то случилось бы*. Но, как правило, ничего не случается. Сидя в ресторане на Морской в компании друзей Ламберта, Аркадий признается: “Было *мгновение*, что я едва не ушел; но *мгновение* это прошло, и я остался” [Т. 13. С. 349].

Мгновение также является основной временной единицей, используемой Достоевским для описания любовных поединков и любовных отношений вообще. Из ярких мгновений состоят сцены-поединки Дуни и Свидригайлова, кроткой и ростовщика; увлечение хроникера Лизой Тушиной также длится одно мгновение. Петр Верховенский говорит отцу: “А знаешь, старик, я думаю, у вас было одно *мгновение*, когда она готова была бы за тебя выйти?” [Т. 10. С. 239]. Разумихин после встречи с Дунечкой и Пульхерией Александровной как в жару признается: “Я это предчувствовал... прошлого года, одно *мгновение* такое было...” [Т. 6. С. 155].

В “Подростке” связь Лидии Ахмаковой с князем “продолжалась мгновение”. “Мгновение” у Достоевского становится почти метафорой любовных отношений. Именно в таком значении употребляет это слово Лиза Тушина в “Бесах” после ночи, проведенной со Ставрогиным: «Ну так чего же вам: знали и оставили *“мгновение”* за собой <...> Слушайте, я ведь вам уже сказала: я разочла мою жизнь на один только час и спокойна. Разочтите и вы так свою... впрочем вам не для чего; у вас так еще много будет разных “часов” и “*мгновений*”» [Т. 10. С. 401]. Она же говорит, что все “началось с красивого мгновения”, которого она “не вынесла”.

А.Л. Бем видит в несколько раз повторяемых обвинениях Лизы Ставрогину (“оставили мгновение за собой”) намек на памятную формулу договора Фауста с дьяволом: «Когда воскликну я: “Мгновенье, Прекрасно ты, продлись, постой!”». Таким образом она сближает свою судьбу с судьбой Гретхен, видя в Ставрогине Фауста [2].

При отрицании линейного психологического времени, когда вся внутренняя жизнь героя строится как цепь ярких вспышек сознания,

счастливых или несчастных “минут”, не может быть полноценной любовной интриги и последовательного развития любовных отношений. Любовный сюжет у Достоевского строится лишь из отрезков, воспринимаемых героями как “мгновения”, или из ночей, похожих на минуту, как в “Белых ночах”: “Ночь первая”, “Ночь вторая”... “Утро”. Любовь в произведениях Достоевского не может иметь продолжения и кончиться счастливым браком, она всегда несчастная; любовный сюжет – это цепь из нескольких ярких минут. “Целая минута блаженства” – определение любви в мире Достоевского – у Ставрогина и Лизы длится только одну ночь, у Мити и Катерины Ивановны все продолжалось одно мгновение, когда она к нему за деньгами пришла; Раскольников с Соней тоже переживают всего несколько мгновений. Единственная ситуация счастливой любви и развития любовных отношений дана в раннем рассказе Достоевского “Слабое сердце”, но примечательно, что герой в итоге сходит с ума, не будучи в силах вынести своего блаженства.

Литература

1. Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990. Далее указ. том и стр. в тексте статьи.
2. Бем А.Л. Исследования. Письма о литературе. М., 2001. С. 242.

Продолжение следует



Идиот в “Идиоте”

© А. Е. КУНИЛЬСКИЙ,
кандидат филологических наук

Слово *идиот* многократно употребляется применительно к главному герою романа “Идиот” – и им самим и окружающими. При этом актуализируются два его значения, связанные между собой, – профессиональное (медицинское) и бытовое (уничижительное). Вначале оно поражает своей резкостью, даже грубостью. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что нечто подобное в литературе уже было. Н.Г. Чернышевский начал роман “Что делать?” (1862) главой “Дурак”, но читатель скоро понимает, что герой, который там имеется в виду (Лопухов), симпатичен автору.

Еще более близкий в данном случае прецедент – переводная повесть анонимной французской писательницы “Идиот”, опубликованная в “Литературной газете” за 1847 год. В “Летописи жизни и творчества Ф.М. Достоевского” (СПб., 1993. Т. I. С. 132) дается ссылка на это переводное произведение и указывается, что оно было опубликовано в № 16 “Литературной газеты” за 17 апреля. Следует уточнить, что повесть печаталась и в №№ 17–18 (25 апреля и 1 мая). Нет сомнения, что указанное произведение присутствовало в памяти Достоевского, когда он писал свой роман, – на это указывают некоторые реминисценции. Начиная публикацию переводной повести, редакция “Литературной газеты” сопроводила ее примечанием: “Мы не переводим французского слова *idiot*, потому что равносильного ему нет на русском языке. Ближе других подходит к нему слово *полоумный*, но и оно не вполне объясняет французское выражение” [1] и т. д.

Действительно, и в 1847 году слово *идиот* казалось новым в русском языке, однако ранее оно все-таки употреблялось [2] – и уже в XVIII веке [3]. Здесь “говорится о человеке глупом, несмышленном, тупом, непонят-

ном”]. Отрицательное значение в слове, заимствованном через немецкий и французский языки, преобладало, но было не единственным, о чем свидетельствует, например, такое заглавие вышедшего в самом начале XIX века трактата: “Размышления о любви к Богу, взятые из сочинений Идиота, мужа прославившегося в ученом свете. Перевел Московской Славяно-греко-латинской Академии Философии студент Василий Ромодановский” (М., 1801) [4].

Некий ценностно-смысловой остаток, не растворяющийся в общем бранно-презрительном значении слова *идиот*, сохранялся. Пушкин писал: “Я становлюсь совершенным идиотом; как говорится до святости”. У Пушкина идиотизм каким-то образом ассоциировался со святостью, а у Белинского с чем-то прямо противоположным: “Черт возьми этих подлецов и идиотов” [5]. И Некрасов потом ставил в заслугу Белинскому то, что

Не пощадил он ни льстецов,
Ни подлецов, ни идиотов,
Ни в маске жарких патриотов
Благонамеренных воров! [6].

(Попутно заметим, что поэма Некрасова впервые опубликована в “Полярной звезде” на 1859 г. (Кн. V), до этого распространялась в России в списках.)

Если под *идиотами* понимать психически больных или просто тупых людей, то мог ли Некрасов прославлять Белинского за борьбу с ними? Наверное, здесь было что-то еще.

В 60-е годы XIX века слово *идиот* окончательно вошло в русский лексикон. Его активно использовали радикально настроенные публицисты, “припечатывая” им не только своих идейных противников, но и близких по взглядам оппонентов (“раскол в нигилистах”). Так поступал, например, Д. И. Писарев в споре с М. А. Антоновичем [7]. Слово *идиот* соседствует в языке Писарева с такими понятиями, как “овца”, “баран”, “либерал”, то есть, очевидно, обозначает послушного и недалекого человека, противопоставляемого современно мыслящему и решительно настроенному “реалисту” (атеисту и революционеру) [Там же. С. 17, 19].

В указанном контексте знаменательно решение Достоевского называть свой новый роман “Идиот”. Это произведение о том, кто никак не относится к “передовой” части современной интеллигенции, кто безнадежно “застрял” в давным-давно осмеянных и отвергнутых представлениях, кто не принадлежит к сильным личностям, а является одним из стада, то есть “овцой” (в романе так его и называют [8. Т. 8. С. 99]; в Новом Завете *агнцами*, *овцами*, *стадом* именуются христиане – Иоан. 21, 15, 16, 17; 1 Петр. 5, 2). И здесь в слове *идиот* проступает древний – забытый, но, как представляется, ощущаемый людьми XIX века смысл: “мирянин” [9. Т. II; 10].

Следует отметить, что известные дореволюционные словари дают вполне однозначное толкование слова *идиот*: “малоумный, несмысленный от рождения, тупой, убогий, юродивый” [11]; “идиот(ка) – индизказательное, бранное – глупец, тупоумный” [12]. Составитель комментария к роману “Идиот” в Полном собрании сочинений Достоевского Н.Н. Соломина (9. С. 394) цитирует Даля; она также сообщает минимальный перевод слова с греческого (отдельный, частный человек) и добавляет, что в средние века оно означало “человека не слишком образованного или вообще далекого от “книжной премудрости”, но наделенного идеальными чертами и глубокой духовностью”. Далее следует ссылка на работу Р.И. Хлодовского, в которой затрагивается последнее из перечисленных значений [13].

Действительно, в греческом языке уничижительные значения в слове не были первичными: так назывался частный человек, вообще простой человек, незнатный [14] (в данном значении это слово передавалось на Руси в древних памятниках как *смерд* [15]). Невежа, неуч, неопытный, несведущий человек (в противоположность образованному, посвященному), так же, как и прозаик (в противоположность поэту) – это уже следующий этап в осмыслении слова [14]. Обратим внимание на, так сказать, “диалогическую” природу его значения, восприятие которого предполагало учет другого члена оппозиции – того, с чем оно соотносилось, чему противопоставлялось. Очевидно, в древнеримской культуре слово во многом утратило это богатство смысла (“римляне разумели под “идиотом” незнающего, неопытного человека, невежду и бездарность в науках и искусствах” [16]).

“Оживление” слова происходит с началом христианской эпохи, когда оно приобретает еще один, впоследствии почти напрочь забытый, смысл – “мирянин” [9. Т. II]. Именно в таком значении его употребляет ап. Павел в Первом послании к коринфянам. Говоря о богослужебных собраниях апостольской церкви, он призывает проповедующих выражаться понятно для всех присутствующих – (1 Кор., 14, 16). В славянском и русском текстах это слово переводится по-разному: “Понеже аще благословиши духом, исполняяй место *невежды*, како речет, аминь, по твоему благодарению, понеже не весть что глаголеши” (Курсив наш. – А.К.). Показательно изменение, сделанное в русском тексте – и в издании Русского Библейского общества 1823 года, и в Синодальном переводе 1863 года, которыми пользовался Достоевский [17]: “Ибо, если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте *простолюдина* как скажет “аминь” при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь” (Курсив наш. – А.К.). “Простолудин” уже не “невежда”. В данном случае имеется в виду простой (рядовой) член церкви, но в апостольские времена иерархия еще не была жесткой, ощутимо проявлялся дух равенства и проповедовать мог любой. На это указывает митрополит Антоний (Вадковский): “Каждый член общества занимал поло-

жение мирянина <...> только до тех пор, пока слушал речь другого, а потом мог занять место учащего, как только в его душе созревало слово назидания (1 Кор. 14, 16). Благодаря этой свободе слова проповеднического при служении апостольском происходил оживленный, искренний обмен речами в форме простого домашнего разговора или беседы <...> (Деян. 20, 7, 11). И богослужебные собрания первенствующих христиан в этом отношении представляют редкие, замечательные и беспримерные явления в христианской Церкви" [18].

П.Я. Черных указывал, что в слове *идиот* «значение "умственно неполноценный человек", "кретин" не первоначальное, а позднее, возникшее на западноевропейской почве» [19. Т. I]. Кстати, слово *кретин* (франц. *crétin*) происходит от лат. *christianus* – *христианин* (!) [9. Т. II]. Считается, что со значением "безумный, сумасшедший" слово *идиот* впервые было употреблено Парацельсом в 1526 году [10]. *Идиот* становится кретином, слабоумным в эпоху Ренессанса – эпоху восстания против христианства, разрушения христианских ценностей [Там же]. Именно этот момент, как показывает Р.И. Хлодовский, отражен в "Декамероне" Боккаччо (4-я новелла Третьего дня), где объектом осмеяния оказывается "идиотизм" персонажа, состоящего в братстве св. Франциска Ассизского (правда, в русском переводе А.Н. Веселовского слова *идиот*, *идиотизм* не сохранены).

Таким образом, говоря о князе Мышкине, о романе в целом, нельзя не учитывать особого смысла, тайны слова *идиот*. На то, что одно из значений слова *идиот* – это "мирянин" (*laupan*), в работе о романе "Идиот" указывал Р.П. Блэкмур [20]. За лежащим на поверхности презрительным значением просвечивает другое – "мирянин", то есть "рядовой, не облеченный духовным саном, член христианской церкви" [21]. В свою очередь, в русском языке слово *мирянин* также многозначно, помимо первого значения, оно имеет другие: это и сельский, деревенский житель, член общины, мира; и один из людей, народа вообще [22]. Понятно, что все приведенные значения оказываются очень важными в случае с Мышкиным. Они соответствуют его статусу: 1) христианин, не принадлежащий к клиру; 2) человек, получивший воспитание не в городе, а в деревне (и в России, и в Швейцарии; по этому поводу можно вспомнить известное выражение Маркса об "идиотизме деревенской жизни"; одной из причин такой характеристики мог стать консерватизм деревенских жителей, их приверженность христианству.); 3) человек – представитель своего народа и даже всего человечества (Ипполит говорит о князе: "Я с Человеком прощусь"). Воспринимаемое во многом архаичном и эзотерическом уже для России XIX века смысле, заглавие произведения отвечает замыслу Достоевского создать роман о христианине ("Роман. Христианин"; "христианином" и называет себя Мышкин). И в античном обществе, и в эпоху Возрождения, и в современном ему мире христианин воспринимался как ненормальный, в уни-

чижительном смысле этого слова (для иудеев соблазн, а для эллинов безумие).

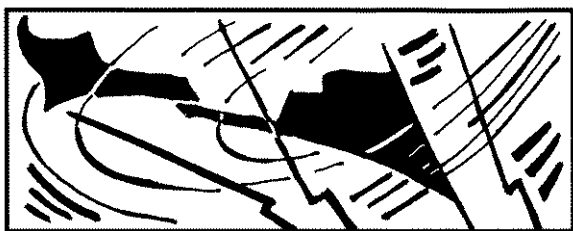
В этой связи обращает на себя внимание такой факт. Известно, что Достоевский, работая над романом, использовал книгу Эрнеста Ренана "Жизнь Иисуса". Она вышла в 1863 году, роман Достоевского – в 1868-м. И вот несколько лет спустя в другом сочинении – "Марк-Аврелий и конец античного мира" – Ренан написал: "Тот, кто покусился бы применять в свете букву Евангелия, разыграл бы роль простофили и идиота". У нас нет оснований предполагать, что Ренан был знаком с романом Достоевского. Но сформулировал он мысль, которую мог бы высказать какой-нибудь оппонент Мышкина – например, Евгений Павлович Радомский.

Акцентированное в данной работе значение слова *идиот* (*мирянин*) не отменяет весомости его привычной и очевидной в новое время семантики (душевнобольной). Но и этот смысл также оказывается вовлеченным в общую – христианскую – систему значений романа. Во-первых, идиотизм, в который впадает Мышкин, это сниженный вариант гибели (смерть героя выглядела бы благороднее, красивее). В то же время финал Мышкина почти буквально соответствует заповеди Христа: "<...> да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Иоан. 15, 12 – 13). В данном случае речь идет именно о душе: "Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее" (Лк. 9, 24). Мышкин и теряет душу, а не плоть. Это еще раз подтверждает то, что слово *идиот*, со всем множеством значений и историей его восприятия, поразительно соответствует христианской природе образа Мышкина и поэтики Достоевского.

Литература

1. Идиот (Повесть) // Литературная газета. 1847. № 16. С. 244.
2. Яновский. Н. Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту. СПб., 1803. Ч. 1.
3. Словарь русского языка XVIII века. СПб., 1995-. Вып. 8.
4. Котельников В.А. Кенозис как творческий мотив у Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 1996. Т. 13. С. 198.
5. Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Российской Академии Наук. Пг., 1922. Т. 3. Вып. 1.
6. Некрасов Н.А. Белинский // Полн. собр. соч. В 15 т. Л., 1982. Т. 4. С. 7.
7. Писарев Д. Посмотрим! // Русское слово. 1865. Сентябрь. Отд. II. С. 16, 47, 51.

8. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1973. Т. 8. С. 99.
9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986.
10. Этимологический словарь русского языка. М., 1980.
11. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., СПб., 1881. Т. II.
12. Михельсон М.И. Русская мысль и речь: Свое и чужое. Опыт русской фразеологии: Сборник образных слов и иносказаний. М., 1994. Т. 1. С. 360.
13. Хлодовский Р.И. Ренессансный реализм и фантастика: Попытка аналитического прочтения нескольких новелл "Декамерона" // Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. М., 1967.
14. Греческо-русский словарь, составленный А.Д. Вейсманом. 5-е изд. СПб., 1899.
15. Р<удако>въ В. Смерд // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1900. Т. 30А.
16. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1894. Т. 12А. С. 805.
17. Балашов Н.В. Спор о русской Библии и Достоевский // Достоевский: Материалы и исследования. СПб., 1996. Т. 13.
18. Антоний, митрополит С.-Петербургский и Ладожский. Святоотеческие творения как пособие проповедникам: История проповедничества // Богословские труды. М., 1986. С. 333.
19. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1993. Т. I.
20. Blackmur R.P. Eleven Essays in the European Novel. N.Y., 1964. P. 143.
21. Христианство: Словарь. М., 1994. С. 280.
22. Словарь русского языка. АН СССР. Ин-т рус. языка. М., 1985.



“Тревога” в поэзии А. Блока

© В. М. МАРКЕЛОВА

Важнейшим компонентом языковой палитры Блока является лексико-семантическое поле “тревога”. Оно дает общую картину авторского мировидения: охватывает и самые ранние стихи цикла “*Ante Lucem*”, и зрелые, лишенные романтического ореола, социально значимые произведения 1898–1916 годов.

А. Блок отразил в своем творчестве особый тип мироощущения человека кризисной эпохи, осознавшего всю значительность времени, в которое он живет, пытающегося соединить линии, идущие от прошлого в будущее, и в этом соединении видеть настоящее.

Роль и назначение поэта для Блока были неразрывно связаны с тем историческим фоном, на котором формировалась его личность, складывалась его судьба:

Зову тебя в дыму пожара,
В тревоге, в страсти и в пути.
Ты – чудодейственная кара,
К земле грозящая сойти...

(“Зову тебя в дыму пожара...”, 1902 г.)

Нет, хоть в конце тревожного скитанья
Найду пути, и не вздохну о дне!
Не омрачить заветного свиданья
Тому, кто здесь вздыхает обо мне.

(“Не жаль мне дней ни радостных, ни знойных...”, 1901 г.)

Курсив здесь и далее наш. В последней строке курсив А. Блока – В.М.)

Блок был социально чутким поэтом: “Не только общее в его прямых касаниях, но и личная жизнь в широком смысле слова, со всеми ее волнениями, бурями, тревогами, страстями, восторгами <...> была для него объектом пристального внимания и наблюдения, который давал

ему возможность улавливать дух и атмосферу своего времени" [1]. Жизнь представлялась ему в виде органичного сплава личного и общественного: «...В поэтическом ощущении мира нет разрыва между личным и общим; чем более чуток поэт, тем неразрывнее ощущает он "свое" и "не свое"; поэтому в эпохи бурь и тревог нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта также преисполняются бурей и тревогой» [2].

В понимании Блока, жизнь – бесконечная цепь тревог, мир тревоги:

Теперь открылся мир тревоги,
И ум трезвей на жизнь взглянул,
Открылись новые дороги,
Но я по старой повернул...

(“Что было год назад? Все то же...”, 1900 г.)

Человек в его стихах почти всегда испытывает страдание от жизненных тревог:

Но я – человек. И, паденье свое признавая,
Тревогу свою не смирю я: она все сильнее...

(“Ну, что же? Устало заломлены слабые руки...”, 1914 г.)

В огне и холоде тревог –
Так жизнь пройдет. Запомним оба,
Что встретиться судил нам Бог
В час искупительный – у гроба.

(“В огне и холоде тревог...”, 1916 г.)

В творчестве Блока прослеживается безумная тревога перед лицом развернувшихся в душе и мире трагедий:

Здесь дух мой, злобный и упорный,
Тревожит смехом тишину;
И, откликаясь, ворон черный
Качает мертвую сосну...

(“Какая дивная картина...”, 1909 г.)

Поэт часто использует слова *тревога* и *жизнь* в качестве контекстуальных синонимов. Тревога, наполняющая жизнь, все же символизирует движение вперед, преодоление противоречий:

Опять – тревога, опять – стремленье,
Опять готов
Всей битвы жизни я слушать пенье
До новых снов.

(“За краткий сон, что нынче снится...”, 1899 г.)

...Здесь – в свете дня, во тьме ночной,
Душа боролась, погибала,
Опять воспрянув, свой покой
Вернуть не в силах, уадала
В тревоги жизни городской
И, дна достигнув, поднимала
Свой нежный цвет над черной мглой –
Так – без конца, так – без начала...

(“Пусть я покину этот град...”, 1900 г.)

На рубеже веков чувство тревоги получает у поэта социальное звучание, актуализируется синонимичность понятий *тревога* – *буря* (*битва*) *жизни*:

В моей душе, как келья, душной
Все эти песни родились.
Я их любил. И равнодушно
Их отпустил. И понеслись...
Неситесь! *Буря и тревога*
Вам дали легкие крыла...

(“Едва в глубоких снах мне снова...”, 1920 г.)

И я стремлюсь душой *тревожной*
От *бури жизни* отдохнуть,
Но это счастье невозможно,
К твоим чертогам труден путь...

(“В те дни, когда душа трепещет...”, 1900 г.)

За *бурей жизни*, за *тревогой*,
За грустью всех измен...

(“О да, любовь вольна, как птица...”, 1914 г.)

В статье “Искусство и революция (по поводу творения Рихарда Вагнера)” (1918 г.) поэт пишет: “Новое время *тревожно* и беспокойно. Тот, кто поймет, что смысл человеческой жизни заключается в беспокойстве и *тревоге*, уже перестанет быть обывателем. Это будет уже не самодовольное ничтожество; это будет новый человек...” [2].

Помимо слова *тревога* в лирике Блока представлены: *тревожный* – *тревожно* – *тревожить* – *тревожа* – *тревожиться* – *встревожить* – *встревоженный* (*встревожен*) – *потревожить*.

Есть и семантические наращения: у слова *потревожить* – “прийти, свершиться, осуществиться”:

Мы все уйдем за грань могил,
Но счастье, краткое быть может,
Того, кто больше всех любил,
В земном скитанье *потревожит*...

(“Мы все уйдем за грань могил...”, 1900 г.)

У слова *встревожить* – “воскресить, возобновить”:

Усталый от дневных блужданий
Уйду порой от суеты
Вспомнить язвы тех страданий
Встревожить прежние мечты...

(“Усталый от дневных блужданий...”, 1898 г.)

Ассоциативные образы, создаваемые Блоком, обостряют, подчеркивают, направляют внимание читателя, помогают прочувствовать общее настроение стихотворения – чувство тревоги лирического героя, а значит, и самого поэта.

Литература

1. Максимов Д.Е. Поэзия и проза А. Блока. Л., 1981. С. 21.
2. Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.–Л., 1960. Т. VI.

Арзамас

“Листья, братья мои...”

Образы листьев в русской поэзии

© М. В. КУТЬЕВА

Излюбленные мотивы русской поэзии – это сравнения человека с листом, а также желание понять язык природы – “говор древесных листов”. С лучшим листом на древе человечества сравнил Федор Тютчев Иоганна Вольфганга Гете:

На древе человечества высоком
Ты лучшим был его листом,
Воспитанный его чистейшим соком,
Развит чистейшим солнечным лучом!

Этому же немецкому мыслителю посвятил свои строки Евгений Баратынский: “С природой одною он жизнью дышал, Ручья разумел лепетание, и говор древесных листов понимал, и чувствовал трав прозябанье”.

Современник Лермонтова поэт Константин Льдов слышал в шепоте осенних листьев трагический смысл: “Как будто шепчется листва, И полны позднею догадкой Ее предсмертные слова”.

У Ивана Тургенева “Шепчут приветные речи Прозрачные, легкие листья”. В стихотворении Константина Бальмонта, посвященном Тургеневу, “чуть слышен листьев ропот”. Валерий Брюсов угадывает в звуках, издаваемых листвою, плач: “Люблю в осенний день несмелый Листвы сквозящей слушать плач”. Развивает это олицетворение и Андрей Белый в стихотворении “Прошлому”: “Кусты, вскипая, мне на грудь Хаосом листьев изрываются”, в стихотворении “Память” “листочком всхлипнет ветка осиновая”.

Уже в XX веке М. Цветаева с присущей ей страстностью вопрошает: “Каким наитием, Какими истинами, О чем шумите вы, Разливы лиственные? <...> О чем беспмятствуете? Что в вашем веянье? Но знаю – лечите Обиду времени Прохладой вечности...”

У Вячеслава Иванова *лист* сродни слову божественному: “И месяц белый расцветает На тверди призрачной – так чист!.. И, как молитва, отлетает С немых дерев горящий лист...”

Листва С. Есенина – это золотые псалмы небес: “Не ветры осыпают пуши, Не листопад златит холмы. С голубизны незримой кущи Струятся звездные псалмы”. Поэт создал развернутое сравнение листьев со словами: “Как дерева роняют тихо листья, так я роняю грустные слова”.

Ему словно вторит Борис Пастернак, развивая это сравнение: “Давай ронять слова, Как сад янтарь и цедру, Рассеянно и щедро, Едва, едва, едва...”

У Анны Ахматовой в небольшом цикле “Обман” встречается параллель *листья – мысли*: “Листьям последним шуршать, Мыслям последним томиться. Я не хотела мешать Тому, кто привык веселиться”. Образ думы появляется у Валерия Брюсова в стихотворении “Не так же ль годы, годы прежде...”: “Ловлю, как прежде, шорох каждый Вечерних листьев, дум своих, Ищу восторгов и печали Бесшумных грез певучий стих”.

Даже такой урбанистический поэт, как Владимир Маяковский, не обошелся без метафоры *слов листья* в своем обращении к Лиле Брик “Лиличка! (Вместо письма)”: “Слов моих сухие листья ли Заставят остановиться, жадно дыша? Дай хоть последней нежностью выставить твой уходящий шаг”.

Похожа на шелест листья и беседа Владимира Соколова с любимой девушкой в стихотворении “На влажные планки ограды...”: “И долго еще у забора, Где каплют секунды в ушат, Обрывки того разговора, Как листья, шуршат и шуршат”.

В стихотворении Николая Дербенева “Белая береза” дерево поет своей листвою: “Ветвями тянешься за мною, На плечи руки мне кладешь, И шелестящею листвою Без слов, без музыки поешь”.

В лирической зарисовке “Старая дорога” Николай Рубцов нашел сходство души с листом: “Душа, как лист, звенит, перекликаясь Со всей звенящей солнечной листвою...”

Сравнивая листья и с душами, и с языками, пытается расслышать их речь Иосиф Бродский в произведении “Эклога 5-я: летняя”:

И глухо – глуше,
чем это воспринимают уши –
листва, бесчисленная, как души
живших до нас на земле, лопочет
нечто на диалекте почек,
как языками, чей рваный почерк
– кляксы, клинопись лунных пятен –
ни тебе, ни стене невятен.

В поэме “Шествие”, в части, названной “Комментарий”, Иосиф Бродский проводит параллель между листвою и своим поэтическим творчеством:

Стихи мои как бедная листва.
К какой зиме торопятся слова?
Но как листву – испуганно лови
вокруг слова из прожитой любви...

В проникнутых сарказмом воспоминаниях Иосифа Бродского о жизни в Советском Союзе мимоходом упомянут образ листвы, чей шелест намекает на пресловутые несмолкающие аплодисменты, да и на тех, кто рукоплещет: “Там слышен крик совы, ей отвечает филин. Овацию листвы унять там вождь бессилён. Простую мысль, увы, пугает вид извилин”. Этот образ подкреплён и ремаркой в поэме “Лесная идиллия”: “Приглядишься, товарищ, к лесу! И особенно к листве. Не чета КПССу, листья вечно в большинстве!”

Размышляя о том, где пребывает человек до его земной жизни, Юнна Мориц предполагает, что он растворён в вечных стихиях. Среди них – листья: “Я – из мрака гуши лучезарной, из потопа листьев, звезд, дождей”. В природные сущности мы перерождаемся, прожив земную жизнь.

Юнна Мориц пишет, используя мотив листа, о проникновённом родстве личности и природы: “Зелень лунного огня, листья губ и щек зеленых ... Лунный ливень надо мной – только часть моей стихии”.

Римма Казакова уподобляет листья ладоням в стихотворении “Ожидание”: “Кто-то ночью хлопает, лопочет... То ль сверчки настроили смычки, То ли это, вылупясь из почек, Листья разжимают кулачки?”

Ладонью кажется лист и Владимиру Луговскому: “Листик кленовый – ладонь твоя. Влажен и ал и чист Этот осенний, немолодой, Сорванный ветром лист”.

В зарисовке Риммы Казаковой “Я помню майскую Литву” говорится о глазах листвы: “И надо мной, как небеса, Глаза весны, летящей в лето, Глаза, зеленые глаза – Листвы, травы, твои, рассвета”. Сравнивает листья с глазами и Новелла Матвеева в стихотворении “Кружатся листья...”:

Кружатся листья, кружатся в лад снежинкам:
Осень пришла, – темно и светло в лесах.
Светятся в листьях розовые прожилки,
Словно в бессонных и утомленных глазах.
Летнюю книгу эти глаза читали,
Мелкого шрифта вынести не смогли
И различать во мгле предвечерней стали
Только большие – главные вещи земли.

Свое страстное желание полностью слиться с природой, превратиться хотя бы в лист выражает Николай Рубцов в стихотворении “Я так люблю осенний лес”: “Я так люблю осенний лес, Над ним сияние небес, Что я хотел бы превратиться Или в багряный тихий лист, Иль в дождевой веселый свист <...> Перед дорогою большою Сказать: – Я был в лесу листом! Сказать: – Я был в лесу дождем! Поверьте мне: я чист душою...”

В стихотворении А. Тарковского “Словарь” *листва* выступает как метафора кожи человека: “Я ветвь меньшая от ствола России, Я плоть

ее, и до листвы моей Доходят жилы влажные, стальные, Льяные, кровавые, костяные, Прямые продолжения корней". Ему же принадлежат слова: "Людская плоть в родстве с листвою". А.Тарковский, пожалуй, самый "лиственный" из поэтов, сравнивает лист с ладонью, называя его пятипалым в стихах, ставших широко известными: "Все, что сбыться могло, Мне, как лист пятипалый, Прямо в руки легло, Только этого мало".

Многоплановую лиственную метафору, целый перечень определенных листвы дает А. Тарковский в полностью посвященном листьям стихотворении:

Сколько листвы намело, Это легкие наших деревьев,
Опустошенные, сплюсненные пузыри кислорода,
Кровли птичьих гнездовий, опора летнего неба,
Крылья замученных бабочек, охра и пурпур надежды
На драгоценную жизнь, на раздоры и примиренья.
Падайте наискось наземь, горите в кострах, дотлевайте...

Вторая часть стихотворения построена на анафоре. Повторяющиеся обращения к листьям звучат как заклинания:

Листья, братья мои, дайте знак, что через полгода
Ваша зеленая смена оденет нагие деревья.
Листья, братья мои, внушите мне полную веру
В силы и зренье благое мое и мое осязанье,
Листья, братья мои, укрепите меня в этой жизни,
Листья, братья мои, на ветвях удержитесь до снега.

Список *лиственных* метафор, сравнений и символов открыт и ждет своего продолжения.

“Напряженные черти” и “идолы” в “Поднятой целине” М.А. Шолохова

© Д. В. ПОЛЬ,
кандидат филологических наук

Первая книга романа М.А. Шолохова дает в целом объективную картину “Великого перелома”, как называли коллективизацию в 30-е годы.

Само название нового романа — “Поднятая целина” — появилось вопреки воле автора. Он хотел назвать его “С потом и кровью”, но под давлением редакции был вынужден отказаться от первоначального варианта и согласиться на “Поднятую целину”.

Несмотря на свою поддержку социальных преобразований в деревне, Шолохов видел и теневую сторону коллективизации. Во время чистки 1933 года писатель подчеркнуто не отделял себя от местного партийного руководства — Корешкова, Красюкова, Плоткина, одного из прототипов Давыдова, к тому времени арестованного. Благодаря заступничеству Шолохова они были освобождены.

В первую книгу романа автор ввел трех преобразователей сельской жизни: Семена Давыдова, Макара Нагульнова и Андрея Размётнова.

Тройке коммунистов Шолохов противопоставил трех контрреволюционеров: Лятевского, Половцева и Островнова.

Противопоставление организаторов колхозов и антибольшевистского подполья усилено тем, к какой лексике, относящейся к области веры и религиозных представлений, они прибегают в своей речи.

Рассмотрим случаи употребления таких слов, как *Христос*, *Господь*, *молитва*, *черт*, *дьявол*, *идол*, встречающихся в “Поднятой целине”.

Слово *черт* (или родственные ему *чертан*, *чертяка*, *шорт*) в романе используется как ругательство всеми казаками. Однако преобладают среди них большевики и им сочувствующие. Слово “черт” не только является ругательством, но и передает драматическую обстановку коллективизации. Примеры этому находим в репликах Давыдова: “Ну, вот земельным вопросом они... да как их, *чорт*?” [1. С. 10] (Курсив здесь и далее наш. — Д.П.). В раздумьях Размётнова: “Каждого *чорта* надо уговаривать, да просить!” [С. 39]. В вопросах и пожеланиях секретаря райкома: “... за каким ты *чортом* к нам кулаков направил?” [С. 124], “...

вот и выселили их [кулаков] *к чорту*" [С. 126]). В речах Нагульнова: "Я тебя, гада, так гробану, что всем *чертям* муторно станет!" [С. 184]; "Пушай их *чорт* венчает, товарищ Сталин" [С. 185], "Вы, ветхие люди! <...> вы всё норовите по-своему жить, вы *напряженные черти*" [С. 268].

Всего, по нашим подсчетам, большевики и им сочувствующие (Майданников, Любишкин, Щукарь) употребляют это слово около сорока раз, в то время как заговорщики – девять раз. Причем в двух случаях оно передает переживания Половцева, убивающего женщину, жену Хопрова: "... мне, офицеру, стыдно... *К чорту!*" [С. 81]); "Поняла, зачем голову накрыл. *К чорту!*" [С. 81]), а в одном – характеризует Давыдова ("Напорочил дождя, *чорт* щербатый!" [С. 268]).

Такое расхождение не может быть объяснимо случайностью. Шолохов, внимательный наблюдатель за происходящими на Дону событиями, отразил то чрезмерное увлечение словом (нелишне вспомнить и распространившееся в годы Гражданской войны название моряков "чертяками"), которое было характерно для создателей нового мира.

Пять раз в романе, по нашим подсчетам, возникает слово *идол*, и всякий раз оно относится к большевикам. Так, мать Размётнова говорит о сыне: "И в кого такого *идола* уродила!" [С. 35], а жена Лапшинова – Кондрату Майданникову: "Он хотел бы, чтобы ему, *идолу* голоштанному, даром просцо отдали!" [С. 67]. В сходном значении это же слово используется и о Давыдове во время "хлебного бунта": "*Идол* бесчувственный! Каменюка холодная!" [С. 235]; "Идолом черным" назван Любишкин [С. 196].

Шесть раз, и исключительно сторонниками новой власти, употребляется слово *дьявол* как для характеристики товарищей (Нагульнова), так и явных (Лапшинов) и скрытых (Островнов) врагов. Трижды к этому слову прибегает бывший матрос-краснофлотец Давыдов, и всякий раз для передачи своего отношения к человеку. Он говорит Островнову: "Умный мужик, дьявол, начитанный" [С. 94], к Кондратью обращается так: "Экий же ты, *дьявол*, умница!" [С. 138]. Даже используя это слово в отношении Нагульнова как ругательство "Ты! Дубина, *дьявол!*" [С. 186], Давыдов вкладывает в него и некоторый оттенок восхищения.

Если большевики активно употребляют такие слова, как *дьявол*, *черт*, то в речи их противников встречаем *Господь*, *Христос* (*Ради Христа*), например в молитве Половцева: "Господи, приблизь твою кару!" [С. 139], в словах Островнова: "Живи, как *Господь* тебе повелел!" [С. 287]). К молитве обращается Половцев, в том числе, и наедине с собой: "Половцев шептал молитву, кряхтя, опускался на колени, клал поклоны" [С. 139].

Напротив, большевик Дёмка Ушаков обращается к слову "Христос" всего один раз, и то с очевидной насмешкой: "Ты вроде как *Исус Хри-*

стос, въезжающий в Ерусалим на ослиати” [С. 251]. Ни один из большевиков не использует само слово *молитва* в его прямом значении. Только с насмешкой: в анекдоте Найдёнова или с издевкой у Размётнова: “Всё *молятся* деревяшкам, масло жгут, воск на свечи переводят” [С. 195].

Образ “Великого перелома” в первой книге романа Шолохова “Поднятая целина” складывался постепенно из столкновения полярных ценностей, проявлявшихся и в речи персонажей. Не с *молитвой* и *образом*, а с *чертом* и *дьяволом* на устах образовывали коллективные хозяйства их создатели. И Шолохов *свидетельствует* об этом в своем романе.

Литература

1. Шолохов М.А. Поднятая целина. М., 1960. Далее указ. только страницы.

Знаки советской ментальности в прозе Ю. Полякова

© А. Ю. БОЛЬШАКОВА,
доктор филологических наук

Первые повести Юрия Полякова “Сто дней до приказа” (1979–1980), “ЧП районного масштаба” (1981–1984), “Работа над ошибками” (1985–1986), “Апофегей” (1988–1989) усыпаны советизмами, идеологемами, свернутыми в аббревиатуры: ЦК ВЛКСМ, ЧП, КВН, РК, КПСС, ОБХСС, РУВД, БАМ, ЖЭК, ДЭЗ, КПП, – и даже вымышленными: СМТ (Союз музыки и танца), СМЖ (Союз матерей и жен), СОД (Союз одиноких девушек) и т.п. Казалось бы, их функция ограничена простым названием без какой-либо попытки придать обозначаемому эмоциональную окраску. Между тем, эти аббревиатуры несут у Полякова дух недовольства временем – двойственного, массово-безликого, героического, циничного, аскетичного и, по-своему, грандиозного, как готические шпили сталинских высоток. “А странно, – замечает работающий в ДЭЗе персонаж, – как ни сокращай, все равно получается нечто, похожее на имена гриновских героев, которых абсолютно не волновали жилищно-бытовые проблемы” [1. Т. 1. С. 142] (Курсив здесь и далее наш. – А.Б.). Языком аббревиатур передается и феноменальность идеологии (выносящей за скобки все “лишнее” – звуки, краски, чувства), и ее переход в стадию фразеологического развешивания, когда изъясняющиеся на идеологическом эсперанто люди перестают воспринимать живое слово. Оно для них подобно отторгаемому в какой-то иной мир “вульгарно-материальным” проблемам, поскольку обнажает уязвимость оторванных от земной почвы идеалов.

Впрочем, речевые знаки (а где *знак* – там и *идеология*) советской ментальности, скажем, в “Апофегее” – повести о (не)состыковке советского периода с горбачевской перестройкой – это не только “священные аббревиатуры” [Т. 1. С. 334], но и коды обманутого ожидания. В изображении встречи двух некогда пылко влюбленных на фоне партконференции, должной, по задумке БМП (Михаила Петровича Бусыгина, первого секретаря Краснопресненского райкома партии, за гротескными чертами которого проступают узнаваемые очертания известной фигуры гор-

бачевского, а затем постсоветского периода), “продемонстрировать небывалое единение краснопролетарского лидера с широкими народными массами” [Т. I. С. 319], появившаяся аббревиатура ХПН, кажется, обещает хэппи-энд: и в отношениях бывших влюбленных, и в развитии другой “любовной” линии – “власть и народ”. Увы, под странным буквенным сочетанием скрывается тяжелая болезнь сына главных персонажей: Хроническая Почечная Недостаточность. Процесс аббревиации, в частности, образования от ФИО партийного лидера Бусыгина Михаила Петровича, “просвещенным” словом заигрывающего с народом, аббревиатуры БМП – с полной перекодировкой семантического ядра (Боевая Машина Пехоты) – раскрывается как признак затяжной болезни страны, сначала переименованной из Российской империи в СССР, а потом и вовсе в усеченное РФ, знаменующее упрощение и разуподобление.

В романе “Замыслил я побег...” (1995–1999) аббревиатурный язык вырождающейся Системы окончательно превращается в *пустой*, лишенный содержания, знак. Означающее отрывается от означаемого, словно уже не существующего. Так, должный знаменовать эру демократии Комитет научно-технической интеллигенции в поддержку перестройки и ускорения носит уродливое название КНТИППУ [Т. III. С. 168]. Как тут ни вспомнить о не менее феерическом средстве *ускорения* – “Антилопе-Гну” из романа Ильфа и Петрова! Так и есть: организация, рифмующаяся с “Антилопой-Гну”, оказывается очередным мыльным пузырем смутных времен, а ее донкихотствующий руководитель Каракозин – “рыцарь Джедай” – гибнет в “раскуроченном из танковых пушек” Белом доме [Т. III. С. 291]. Брошенный в массы лозунг “техническая интеллигенция – движущая сила нашей революции” [Т. III. С. 143] обнаруживает свои подлинные смыслы в сопоставлении с репликой того же Джедая. “Откуда ты взял этих козлов?” – спрашивает Каракозина Башмаков при виде активистов Народного фронта. “А в революции всегда бывают только козлы и бараны”, – отвечает Джедай, не подозревая, что вскоре сам окажется в рядах “козлов и баранов” [Т. III. С. 145].

Тень от такого “снижения” романтизированных клише падает и на постперестроечную фразеологию, отражающую и самоиронию, реакцию “масс” на “демократические” новшества, и *распад идеологического пространства* как *пространства национально-речевого*: космическая секретная организация НПО “Старт” переименовывается (самими же ее сотрудниками) в “Альдебаран”, Лосиноостровское отделение банка – в “Лось-банк”, широкую асфальтовую дорогу “изолянты” (политзаключенные) в “Демгородке” с ностальгическим юмором именуют Бродвеем. Последний (топографический) образ вбирает в себя и подразумеваемую соцреалистическую идеологию “светлый путь”. Американизмы выступают наследниками советизмов. Вербальные знаки идеологической суррогатности и химерических сращений (“господарищи” – иронический

неологизм, образованный от внутренне оппозиционных: *господа + товарищи*; “благоворот” – “государственный переворот, совершенный во благо народу”; “нацпомбес” – *национальный помощник беса*) знаменуют, быть может, последнюю стадию духовно-нравственной деформации, начавшейся еще в советские времена.

В повести “ЧП районного масштаба” есть сцена комсомольского собрания на майонезном заводике – обычный идеологический спектакль с “давно составленным и даже отрепетированным текстом” решения [Т. I. С. 171]. Несостыковка означающего (идеологических трафаретов) и означаемого (реальной деятельности заводского комитета ВЛКСМ) обнаруживается уже в комическом изображении идущего к трибуне оратора и парадного зачина его речи: “*Деревянным шагом* он подошел к трибуне, ухватился руками за микрофон и, *тряся от волнения* ногой, начал: – Товарищи! *Победным шагом* идет комсомол...” [Т. I. С. 170].

Привычный спектакль прерывается заводским наладчиком: «– Это – трепология какая-то, а не собрание... Отчетный доклад – фигня! “Мы подхватим! Мы опередим! Мы еще выше поднимем!...” Чего же не поднять? От слов не надорвешься». [Т. I. С. 173].

Прием семантической актуализации, т.е. превращения (воображением самого читателя) отдельного слова, фразы, фрагмента в художественную развернутую картину, виртуозно использован писателем и в “Козленке” – романе о метаморфозах творческого мышления в период горбачевской перестройки. “Хватит ходить в коротких штанишках. Партия доверяет нам. <...> Все будем печатать! *Плюрализм...*” – “мужественно” обещает Н.Н. Горынин, секретарь правления Союза писателей, страждущей руководящих указаний литературной общественности. «Толпа некоторое время молча обдумывала сказанное, стараясь понять тайный смысл этих слов и особенно – последнего, незнакомого, подозрительно оканчивающегося на “изм”» [Т. II. С. 329].

“Толпа”, масса как живое воплощение таинственного “плюрализма” с немим изумлением встречает странное, непривычно-опасное слово “перестроечного” дня. Слово все чаще подменяется паузой, пауза – немотой. Пустоты агонизирующих смыслов заполняются речевыми фантомами – означающими без означаемого: “новое мышление”, “плюрализм”, “гласность”... Да и вся завязка романа фиксирует прохождение обществом некоей стадии (само)отрицания – и стадии нуля: “замирания” слова в поисках смысла.

В романе “Замыслил я побег...” рассказывается, как в НПО “Старт” (потом – в “Альдебаране”), занимавшемся космическими разработками, резко срезали финансирование, “научную работу свернули, а зарплату не повышали, хотя тех денег, на которые раньше можно было жить месяц, *теперь* хватало на несколько дней. <...>

Докукин поначалу регулярно проводил собрания трудового коллектива...

– Надо, надо, товарищи, думать над смелыми конверсионными проектами! Не мы с вами этот рынок придумали... Но в рынке *жить*...

– *По-рыночьи выть!* – подсказал из зала Джедай.

– Вот именно. *Надо прорываться!*.. Например, очень перспективная идея производства биотуалетов для дачных домиков, а также фильтра для водопроводной воды... <...>

И действительно, вскоре были разработаны и изготовлены фильтр “Суперрроса”, а также образец биотуалета “Ветерок-Г” – изящное обтекаемое изделие из мраморного пластика. <...> И Докукин во время переговоров с предполагаемыми партнерами и инвесторами торжественно указывал пальцем на “Ветерок-Г” и говорил:

– Это – наше будущее!” [Т. III. С. 164–165].

С точки зрения проходимца Докукина, *“наше будущее”* (читай: будущее страны, нации) – изящный *биотуалет*.

Даже удачливый Шарманов из повести “Небо падших” (1997–1998), “урвавший свою сосиску у рассеянного и вечно пьющего дяди Вани” [Т. II. С. 404], и тот признается: *“Нас всех обманули. Всех!”* [Т. II. С. 463]. Башмаков после увольнения из НПО оказывается в неожиданной для него ситуации: “Поначалу ему казалось, новая работа найдется легко и сама собой, *как это случалось* прежде. Но потом вдруг выяснилось: *никто нигде не нужен*” [Т. III. С. 170].

Нагнетание отрицательных местоимений и частиц идентифицирует иллюзорное время как пространство, в котором каждый только за самого себя. Распад советской эпистемы порождает опустошение, пустоту – и в сугубо человеческом, и в ситуативно-социальном и функциональном планах. Характерна, однако, живучесть прежних мифоидеологем уже в сознании (пост)советских граждан: “...Он бездействовал, и бездействовал по идейным соображениям, ощущая себя жертвой какой-то чудовищной несправедливости... Несправедливость эта была настолько подлой и умонепостижимой, что такое мироустройство просто не имело права на существование и не могло продержаться сколько-нибудь долго. Оно должно было непременно рухнуть, а из *его обломков сложиться светлый и справедливый мир*, в котором Олег Трудович снова мгновенно обретет годами заработанное достоинство. Только нужна *обломовская неколебимость*...” [Т. III. С. 172].

Герой, ощущая себя *обломком* бывлой цивилизации, сохраняет все те же революционные упования на возможность создания – на руинах прежней жизни – другого, лучшего мира. Ясно, что в рамках такого (гипотетического) мышления отправной точкой становится не поддающееся рациональному объяснению чувство неудовлетворенности, необходимости перемен – и на этой почве строятся зыбкие очертания радужного грядущего (“Кто был никем, тот станет всем”), которое должно возникнуть в результате решительного и мгновенного слома уже существующего общественного уклада. Слово не только изобличает антигу-

манный смысл подобных умонастроений (изображая, указывает), но и самораскрывается как поэтический феномен, не тождественный самому себе.

В “Демгородке” в образе адмирала Рыка, пришедшего к власти в результате подавления “Демократической смуты”, как и в облике БМП, выделяются черты временщика и временности. Сведение почетного звания героя (“Избавитель Отечества”) к аббревиатуре “ИО” не только не исключает иной расшифровки (*Исполняющий обязанности*), но, наоборот, утверждает подтекстовое содержание на единственно верное. Если мы проследим соотношение “говорящей” фамилии адмирала Рыка (*рык* – *рычание*), ее сопутствующих значений (пожирания, поглощения, поедания, кусания), а также иноязычного слова *амнистия* – с просторечным *ам-ам*: “ходят слухи... Об *ам*.... Об амнистии. Ведь И.О. – *великодушная* личность...” [Т. III. С. 10], то убедимся, что ряды усеконовения, свертывания (слов – к слогам, буквам, аббревиатурам) передают состояние бездуховности, даже биологизации неототалитарного существования. На то указывает другое возможное свертывание почетного прозвища Рыка (в главе о приходе И.О. к власти): “Будущий Избавитель Отечества” – БИО.

Литература

1. Поляков Ю. Собр. соч.: В 4 т. М., 2001. Том и стр. указ. в тексте.



СВОБОДНЫЙ ЯЗЫК СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ

© ЗАМИР ТАРЛАНОВ,
доктор филологических наук

Среди общих вопросов, связанных с ролью, значением русского языка в жизни граждан Российской Федерации, народов исторической России, включая и бывшие республики Союза, нельзя обойти вниманием еще один. Он может быть обозначен как “Русский язык и свобода граждан Российской Федерации”. Такая постановка вопроса может показаться кому-то надуманной. И в самом деле, каким образом свобода может быть связана с языком, какие свободы имеются в виду? Политические? Экономические? Конфессиональные? Нравственно-этические? Имеется в виду прежде всего свобода в общении и неотделимая от нее профессиональная свобода граждан – одна из самых востребованных в современной жизни и жизненно необходимых для всех.

Профессиональная свобода – это не только владение профессией. Она обязательно включает в себя, во-первых, возможность выбора места получения профессии (учебного заведения) и, во-вторых, пространство (географию) применения полученных профессиональных знаний. Чем шире эти возможности, тем шире профессиональная свобода, тем увереннее профессиональное самочувствие человека. А это уже полностью определяется языковой свободой, пространственно-функциональными возможностями языка профессии. Такую свободу гражданам Федерации, как в недавнем прошлом и гражданам СССР, предоставляет только русский язык.

Вот один случай из жизни. Когда я учился в Дагестанском университете, среди студентов прошел слух, что в пединститут приехал преподаватель, доктор философских наук, который не говорит по-русски. Для студентов это было необычно, потому что языком образования, обучения, как и языком общения в Махачкале, является русский. Как оказалось, доктор философских наук был из Грузии, образование и научную специализацию получил на грузинском языке. По каким-то причинам, может быть, в поисках свободного преподавательского места, попал в Дагестан, из которого вынужден был уехать через два месяца по причине невладения русским языком, хотя философскую подготовку на базе грузинского языка с его древнейшей письменной культурой имел, наверное, вполне хорошую. Вот это и есть ярчайший пример профессиональной несвободы по языковому признаку.

После распада Советского Союза во многих бывших его республиках русский язык стали целенаправленно выдавливать из употребления, хотя это вряд ли соответствует нынешним и долгосрочным интересам их народов. Едва ли английский язык когда-либо станет необходимой заменой русскому языку, как это кажется некоторым современным правителям этих республик. Удивительно, однако, то, что бывшие равноправные республики Союза упорно избавляются от одного из укоренившихся в их жизнь, культуру мировых языков, в то время как, например, бывшие колонии Англии, Франции, став независимыми, придали колониальным языкам статус дублирующих государственных. Английский язык в миллиардной Индии остается государственным. Страны Магриба – Алжир, Марокко, Тунис, а также Ливан – хотя и имеют свой мировой язык – арабский, не отказались от французского в качестве второго государственного. И это разумно, потому что гражданам этих стран предоставляются таким образом дополнительные гарантии свободы, включая и профессиональную свободу, свободу общения в мире, свободу в получении информации. Вообще же, чем большим количеством языков человек владеет, тем он свободнее и, я бы сказал, солидаризируясь с академиком Л. В. Щербой, даже счастливее.

В ряде бывших республик Союза все же принимаются меры к тому, чтобы сохранить русский язык в системе образования. С этой целью созданы Славянские университеты в Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Армении, создается такой университет и в Казахстане. Это, безусловно, служит интересам народов и культур этих государств. Такие начинания должны пользоваться также деятельным вниманием, отзывчивостью со стороны Правительства, общественности, университетов и бизнес-сообщества России, если они являются сторонниками продвижения отечественных интересов в мире.

Гражданам этих государств пока что не нужно овладевать русским языком по самоучителям или за большие деньги, как другими мировыми языками: языковая среда – тут же, рядом, – это русскоговорящие их соотечественники. К чему приводит утрата языковой традиции, мы знаем не понаслышке, а по сложнейшей ситуации в городских школах современной России, в которых оказалось много детей, желающих учиться, но не владеющих русским языком, языком образования, не по своей воле.

Когда мы говорим о русском языке, связывая с ним коммуникативную свободу (возможности широкого разностороннего общения в России и в мире), то это не означает пренебрежения к языкам других народов России. Все языки прекрасны и незаменимы. Они являются подлинными достояниями народов. Именно эту мысль выражал замечательный поэт Расул Гамзатов, когда обращался к родному аварскому языку со словами “О, мой малый язык! О, мой великий язык!”. Однако не только общесоюзную, но и всемирную известность поэту принес другой великий язык – язык его русских переводов. Отсюда очевидно, что русский язык

но объективно-историческим причинам стал важнейшим и неотъемлемым культурным достоянием всех народов исторической России, стержнем их сплочения вокруг общих ценностей, общей судьбы. Разумно ли отлучать от него эти самые народы, не интересуясь их желаниями, в угоду текущей политической конъюнктуры?

Много сказано и написано о том, какую роль сыграл русский язык в становлении интеллигенции нерусских народов России, в том числе и научных кругов, занимающихся изучением языков, литератур, фольклора, истории, этнографии этих народов. Обширная литература по всем отраслям научного знания создается в России почти исключительно на русском языке. Он же является средством распространения научных достижений и за пределами России, преобразуя их в часть мировой науки. При этом нельзя забывать и о том, что русский язык обеспечивает доступ к 78% общемировой информации.

Сказанное дает нам основание считать русский язык не только свободным и правдивым вслед за И.С. Тургеневым, но и несущим всеобъемлющую коммуникативную свободу гражданам исторической России.

Петрозаводск

Кто же такие мигранты?

© А. С. ГЕРД.

доктор филологических наук

За последние годы слова *мигрант*, *мигранты* стали едва ли не самыми высокочастотными на страницах российской прессы.

Кто же такие *мигранты*? Ответить на вопрос, поставленный в заглавие статьи, можно, только рассмотрев слово *мигрант* на фоне других слов, близких или противопоставленных по значению. Это такие слова, как *абориген*, *автохтон*, *переселенец*, *иммигрант*, *эмигрант*, *беженец*.

Приведем значения этих слов по данным авторитетных словарей.

Автохтоны, по данным нового Большого академического словаря русского языка [1] – коренное население какой-либо местности;

Аборигены – коренные жители какой-либо страны, местности (в противоположность прибывшим поселенцам) [1].

Переселенец, по данным БАС, – человек, переселяющийся, переселенный или переселившийся на новое место жительства. В ТСРЯ начала XXI века [4] выделяется словосочетание “вынужденные переселенцы”, которому по подбору цитат придан оценочный оттенок [4].

Иммигрант – иностранец, поселяющийся в какой-либо стране на постоянное или длительное жительство [1].

Эмигрант – человек, переселившийся из своего отечества в другую страну по причинам политического, экономического или другого характера [2].

В значении слов *иммигрант* и *эмигрант* можно отметить оттенок, связанный с семантическим компонентом “тот, кто официально получил право проживания в другой стране”.

Наконец, *беженец* – это тот, кто покинул место своего жительства, спасаясь от бедствия (войны, голода и т.д.) [1].

Какое же место на фоне этих слов занимают слова *мигрант*, *мигранты*?

Судя по форме, исторически они, по-видимому, заимствованы непосредственно из английского языка, первоначально в язык науки в значении: “виды животных и растений, меняющие место обитания”. По данным русских словарей, слово *мигрант* относительно новое; впервые оно появилось в БАС; правда, слово *миграция* отмечено еще в словаре Толля 1864 г. [2].

В БАС читаем: *Мигранты*, мн. спец. *Мигрирующие люди или животные* и как оттенок выделяются *животные или растения, пересе-*

дившиеся в область, которую они в данное время населяют, из области, в которой они возникли в процессе исторического развития; в БАС слово *миграция* также рассматривается еще как специальный термин и определяется как “передвижение, переселение народов, населения внутри страны или за ее пределы”.

По данным МАС, *мигранты* – это мигрирующие народы, племена или животные [3]. При этом в 50-е годы XX в., когда создавали Малый академический словарь русского языка (МАС), слово *мигрант* рассматривалось еще как исторический, этнографический термин, и снабжалось пометами “истор.”, “этногр.”.

В ТСРЯ [4] на первое место выдвигается современное, судя по цитатам, политически актуализированное значение: “*Мигранты* – люди, вынужденные покинуть свое место жительства в силу экономических причин, из-за притеснений по национальному признаку, природных катастроф и т.п.”; приводятся речения: “Поток мигрантов из республик бывшего СССР”; “Помощь мигрантам”; “Вот я – мигрант, я приехал в Россию, объявившую себя преемницей долгов Советского Союза, я хочу спросить у своей исторической родины: хочет или не хочет она меня принимать?” (Новая газета. 1999. 27 сент.). В ТСРЯ слово *мигрант* выступает как почти полный синоним слова *беженец*, что вряд ли верно.

Крупнейшие зарубежные словари определяют слово *migrant* (о людях) достаточно широко. В Большом Оксфордском словаре [5] *migrant* “лицо, которое перемещается с места на место, покидает одну страну, переселяясь в другую”. Аналогично в Duden [6], Larousse [7].

И мигранты, и переселенцы могут быть людьми любой национальности, вероисповедания, ментальности и исходного гражданства, носителями самых разных языков, культур. Основной внешний денотативный признак, отличающий мигрантов от иммигрантов – отсутствие официально оформленного права на проживание в стране. Таким образом, заимствованное в русский язык слово *мигрант* предстает прежде всего как синоним старого русского слова *переселенец*. Слова *переселенец*, *мигрант*, а также *иммигрант* и *эмигрант* – противостоят по значению словам *абориген* и *автохтон*.

Если принять достаточно распространенную точку зрения, согласно которой коннотативный компонент входит в состав значения слова, то следует признать, что в словах *мигрант*, *мигранты* произошел некоторый сдвиг значения и возник новый экспрессивно окрашенный оттенок основного значения – “о массах переселенцев из других стран”. Основное значение – “лицо, которое переселяется куда-либо” – не изменилось, но под влиянием внешних внемлингвистических причин приобрело в современном русском языке уничижительный, неодобрительный оттенок.

Для России и стран СНГ наиболее сложным является вопрос о соотношении слов *мигрант* и *соотечественник* [8].

Как известно, соотечественниками считают себя многие из тех, кто сегодня проживает на территории бывшего Советского Союза. И это обиходное понимание смысла слова *соотечественник*, исходящее из их исторической памяти и ментальности, полностью соответствует его основному значению — “те, кто проживали или проживают в одной и той же стране, в которой они родились и выросли”.

Не следует забывать, что для большинства переселенцев из бывших советских республик в Россию благодаря их ментальности и знанию разговорного русского языка, в отличие, например, от мигрантов из Турции в Германии, из Марокко в Нидерландах, или сомалийцев в Финляндии, не стоит проблема интеграции в российское общество [9].

Тогда логически следует признать, что и в слове *мигрант* (чаще мн. — *мигранты*) следует видеть два специальных официальных значения: 1) переселенец; чаще о переселенцах из одной страны в другую; 2) переселенцы в Россию из новых стран, возникших в результате распада Советского Союза, соотечественники по проживанию на территории бывшего СССР.

Поскольку слова *мигрант*, *мигранты* приобрели в средствах массовой информации (печать, радио, телевидение, Интернет) неодобрительный, уничижительный эмоциональный оттенок, целесообразно было бы вместо этих слов употреблять старое русское слово *переселенцы*. Не случайно и Государственная программа 2001–2012 гг. весьма удачно называется: “Программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников”.

Литература

1. Большой академический словарь русского языка. В 7 т. М.—СПб., 2004–2007.
2. Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.—Л., 1948–1965.
3. Словарь русского языка под ред. А.П. Евгеньевой. В 4-х т. М.—Л., 1957–61.
4. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / Под ред. Г.Н. Складчиковой. М., 2006.
5. Oxford English Dictionary. 2 ed. Charenton Press, 1989 / v. IX.
6. Duden. Das Grosse Wörterbuch der deutschen Sprache. Band 4. Wien; Zürich, Dudenverlag, 1978.
7. Larousse de la langue française. Lexis. Paris, 1979.
8. Герд А.С. Кто такой соотечественник // Русская речь. 2006. № 5.
9. Герд А.С. Миграция в аспекте этнолингвистики // Проблемы языковой картины мира на современном этапе. Нижний Новгород, 2006.



Парламент и дума в современной речи

© Н. В. ЧЕРНИКОВА,
кандидат филологических наук

При заимствовании понятия из другой культуры в язык входит и слово, его обозначающее (*инаугурация, импичмент, саммит, экзитпол* и др.). Ныне многие давние заимствования переживают период номинативной переориентации. Речь идет о словах, которые имелись в словарном составе языка, но использовались для обозначения явлений зарубежной действительности (*муниципалитет, мэр, мэрия, спикер, колледж* и др.). Номинативная переориентация слова происходит и в том случае, если на предшествующем культурно-историческом этапе – в советское время – оно обозначало реалию дореволюционной России, а в настоящее время стало употребляться в применении к понятиям современной российской жизни (*безработица, забастовка, губернатор, гимназия, лицей* и др.). Такие слова образуют корпус номинативно переориентированной лексики [1]. К числу подобных языковых единиц принадлежат слова *парламент* и *дума*. В постсоветский период они стали обозначать явления политической жизни современной России.

Парламентаризм как система государственного управления во главе с парламентом был несовместим с политическим устройством советского государства: “Советская власть... уничтожает отрицательные стороны парламентаризма, особенно разделение законодательной и исполнительной властей, оторванность представительных учреждений от масс и пр.” [2. С. 77]. Поэтому в словарях советского времени толкование существительного *парламент* сопровождалось идеологической пометой *в капиталистических странах*. Например, в “Словаре русского языка” под ред. А.П. Евгеньевой *парламент* – это “высшее государственное законодательное представительное собрание в капиталисти-

ческих странах, построенное целиком или частично на выборах началах" [3. С. 24].

Демократизирующееся постсоветское общество рассматривает парламентаризм как наиболее цивилизованную форму государственного управления. Конституция РФ провозгласила парламент, именуемый в русском официальном дискурсе словосочетанием *Федеральное Собрание*, высшим законодательным органом России: "Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является представительным и законодательным органом Российской Федерации" [4. С. 40]. При этом слово *парламент*, не имея официального статуса, употреблялось в СМИ еще в первые перестроечные годы как средство обозначения Верховного Совета СССР: «...делать вывод о том, что Верховный Совет уже вышел на уровень профессионального законодателя, было бы ... преждевременным. Направлений, по которым наш *парламент* еще "недорабатывает", немало» (Лит. газета. 1990. 10 янв.). Это на языковом уровне демонстрирует эволюцию концептуальных представлений общества, стремление граждан России изменить социально-политическое устройство государства, войти в число парламентских стран.

В настоящее время номинативно переориентированное слово *парламент* и его производные *парламентаризм*, *парламентский*, *парламентарий* активно функционируют в официальном и публицистическом дискурсах. Например: "Величайшее событие конца XX века – выход СССР и России из государственно-бюрократического социализма – позволяет сделать некоторые общие выводы: о *парламенте* революционной эпохи вообще, о современном *парламентаризме* и о российском *парламенте* как одном из инструментов преодоления социализма" (Свободная мысль. 2006. № 4); "Эффективность *парламентской* работы с трудом поддается объективной оценке" (Невск. время. 2002. 4 дек.); "Петербургские *парламентарии* выступают за создание целевого бюджетного фонда по содержанию объектов государственного жилого фонда ..." (Невск. время. 2002. 2 нояб.).

Об освоении массовым сознанием нового понятия и его актуальности свидетельствует появление в словообразовательном гнезде существительного *парламент* новых производных – *антипарламентский*, *внутрипарламентский* и *внепарламентский*. Например: "За годы преобразований из парламента уходят все новые депутаты. Одни идут в органы исполнительной власти. Другие – в *антипарламентские* структуры. Третьи – в регионы" (Свободная мысль. 2006. № 4); "Вялое брожение внутри депутатских фракций получило мощный подогрев и стало наконец-то иметь какой-то смысл. В предыдущей *внутрипарламентской* истории это сравнимо только с первым съездом российских депутатов" (Моск. новости. 1992. 19 апр.); «Как внепарламентское "Яблоко", так и внепарламентский СПС планируют участие в региональных избирательных кампаниях всех уровней» (Нов. изв. 2003. 22 дек.).

Таким образом, в настоящее время единицы словообразовательного гнезда существительного *парламент* обозначают уже не “чужие”, западные, реалии, а “свои”, присущие российской общественно-политической сфере. Поэтому в новейших словарях в толковании слова *парламент* не содержится указания на жесткую привязанность данного явления к капиталистическим странам. Например, в “Большом толковом словаре русского языка” *парламент* определяется как “высшее государственное законодательное представительное собрание, построенное целиком или частично на выборах началах” [5. С. 782].

Закрепление лексической единицы в русской речи стимулировало появление у существительного *парламент* метафорического значения, возникшего в результате актуализации семантических признаков “споры, дебаты”, “плюрализм мнений”, отражающих неотъемлемую черту деятельности парламента: *парламент* – (шутл.) “о шумном собрании людей, где много споров и эмоций” [5. С. 782].

Понятие “дума”, в отличие от понятия “парламент”, давно освоено русским сознанием. С 1785 г. в России существовали *городские думы*, а еще ранее (главным образом в XVI–XVII вв.) – *Боярская дума*, являвшаяся высшим феодально-аристократическим советом при государе [6. С. 274].

В начале XX в. понятие “дума” наполнилось новым содержанием, так как впервые в России было учреждено народное представительство: 27 апреля 1906 г. в Петербурге состоялось заседание Первой Государственной Думы, а с 1907 по 1917 г. осуществляли деятельность еще три Государственные Думы. Последняя прекратила свое существование в 1917 г., накануне Октябрьской революции. Поэтому во всех толковых словарях советского периода лексема *дума* и ее производные фиксировались как историзмы с пометами *в царской России* или *в дореволюционной России*. Например, в “Словаре современного русского литературного языка” в 17-ти т. *дума* – это (дореv.) “представительное выборное законодательное или административное учреждение царской России” [7. Ст. 1157].

На рубеже XX–XXI вв., в период формирования в постсоветской России новых политических структур и государственности, наряду с заимствованием западных политических институтов наблюдается тенденция к воспроизводству традиционных политических моделей – в 1993 г. возрождается Государственная дума, а затем – областные и городские думы. Заимствование явлений из дореволюционной политической сферы обуславливает актуализацию и номинативную переориентацию слова *дума* и его производных *думец*, *думский*.

При этом расчлененные номинации *Государственная дума* или, например, *Московская городская дума* являются официальными названиями. Первая именует нижнюю палату Федерального Собрания и узаконена Конституцией РФ [4. С. 40], вторая представляет собой офици-

альное наименование представительного органа самоуправления города Москвы [8. С. 2].

Производные лексические единицы *думский* и *думцы* имеют неофициальный характер и обычно используются журналистами, освещающими в средствах массовой информации деятельность нижней палаты российского парламента. Например: "Сейчас же хорошо, если *думцы* успеют договориться по поводу Земельного кодекса" (Моск. комс. 1995. 2 нояб.); "На прошлой неделе самая громкая *думская* новость пришла не из Думы, а с политсовета партии "Единая Россия" (Рус. мысль. 2002. 17 окт.).

В качестве официального обозначения члена Государственной думы Конституцией РФ узаконена традиционная лексема *депутат* [4. С. 40].

Итак, в 1990-х гг. в русской речи наблюдается актуализация слова *дума*, которое исконно было ключевым в русской языковой картине мира (вспомним народно-поэтическое *думу думать*). Одно из этимологически первичных значений данного общеславянского слова – "размышление, мысль" [6. С. 272]. Это значение как основное зафиксировано в словаре В.И. Даля: *дума* – "самый предмет, что задумано, мысль, мечта, забота, что или о чем кто думает, мыслит, что у кого на уме" [9. С. 456].

Отглагольное существительное *дума* в русском языковом сознании неотделимо от глагола *думать* – "мыслить, размышлять, доходить своим умом, судить, заключать про себя; полагать, выводить, ожидать"; а также "заботиться, печься" [9. С. 456]. Именно поэтому в Древней Руси *думой* называли "собрание, совет бояр, земских выборных и т.п." [10. С. 506]. В боярской и земской думе *думали* о своей стране и ее народе, заботились об их судьбе.

Такое приближенное к этимологии слова толкование встречается в современных газетно-журнальных материалах. Например: «Слово "Дума", по-моему, очень хорошее слово и коренится оно в русской ментальности. Сколько же можно заимствовать политические термины из иностранного языка? *Думать* надо в парламенте... По сути, парламент – холодное, спокойное рассуждение... Итак, вернулись мы к прежнему названию нашего парламента, чтобы призвать депутатов больше думать, тщательно все взвешивать и только потом уже выступать, а не кричать, провозглашая политические лозунги» (Обществ. науки и современность. 1996. № 3).

Освоение российским обществом новых форм государственного устройства, заимствование западных и дореволюционных понятий, а также новизна, необычность, можно предположить, и некоторая престижность номинирующих их лексических единиц в отдельных случаях приводят к некорректному употреблению последних в речевой практике. В частности, в современных СМИ встречаются такие сочетания, как *федеральный парламента*, *региональные парламенты*, *областные парламенты*, *местные парламенты*, *сельская Дума* и т.п. Например: "Бо-

лее 30 миллионов человек пришли в минувшее воскресенье на избирательные участки 70 регионов России. В 14 субъектах выбирали депутатов *областных парламентов*, где разыгрывалась генеральная репетиция выборов в Госдуму. В будущем *федеральном парламенте* следует ожидать примерно такой же расстановки сил, что и в областных заксобраниях" (Комс. правда. 2007. 13 марта); "За каждым из субъектов Федерации в СФ [Совете Федерации] закреплено по два места: на одно подбирают кандидатов в *местном парламенте*, на другое – главу региона ... С 1993 года порядок формирования СФ менялся трижды. Первых сенаторов выбирали напрямую граждане. В 1995 году на смену им пришли главы регионов и спикеры *региональных парламентов*" (Собеседник. 2007. № 10).

Сочетания *региональные парламенты, областные парламенты, местные парламенты, федеральный парламент* и им подобные, употребляемые журналистами в печати, следует считать недопустимыми, так как они противоречат закону семантического согласования лексем. Семантическое ядро существительного *парламент* содержит компонент "высшее" (государственное законодательное собрание), который не допускает употребления данной лексики с прилагательными *региональный, областной, местный* и т.п., произвольно расширяющими, "обедняющими" системное значение слова. Словосочетание *федеральный парламент* является плеонастическим, так как в значении обеих лексем присутствует семантический признак "общегосударственный".

Существительное *дума* обладает более широкими сочетаемостными возможностями по сравнению со словом *парламент*, так как в его значении отсутствует семантический компонент "высшее". Поэтому нормативными являются такие сочетания, как *Государственная дума, Областная дума, Городская дума*.

Дума в сочетании с прилагательными, обозначающими более мелкие муниципальные образования – поселки, села, станицы, деревни, аулы (ср.: *поселковая дума, сельская дума, станичная дума, деревенская дума* и т.п.), – придает речи оттенок иронии, о чем свидетельствуют газетные материалы. Например: «"Рекордный" показатель явки был зафиксирован в воскресенье в Матвеевском сельсовете Целинного района Курганской области ... кандидат в депутаты *сельской Думы* одержал здесь "сокрушительную победу". Из 30 избирателей к заветной урне пришли ... лишь двое – сам кандидат и его знакомый ... И голосование было признано состоявшимся ... Горячо и сердечно поздравляем законодателей с "торжеством" демократии в отдельно взятой *сельской Думе!*» (Комс. правда. 2007. 13 марта).

Таким образом, в русском языке наблюдается переориентация и актуализация лексических единиц, которые прежде соотносились с реалиями зарубежной или дореволюционной действительности. Попав в общественно значимый контекст, данные слова активно функциониру-

ют в современной речи. Однако их употребление не должно противоречить семантическим законам и языковым традициям, сформировавшимся в течение столетий.

Литература

1. Черникова Н.В. Переориентированная лексика // Русская речь. 2002. № 2.
2. Резолюции и постановления VIII съезда РКП(б) // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). В 15 т. Т. 2. 1917–1922. М., 1983.
3. Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1987.
4. Конституция Российской Федерации. М., 1996.
5. Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. СПб., 2004.
6. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. М., 1999.
7. Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.–Л., 1954.
8. Устав города Москвы. М., 1995.
9. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2002.
10. Словарь современного русского литературного языка: В 20 т. М., 1991.

*Мичуринск
Тамбовской обл.*

Что хранит в себе *и т.д.*?

Как продолжить ряд собирательных числительных

© Г. Ю. СМЕРНОВА,

кандидат филологических наук

В справочниках и учебных пособиях по современному русскому языку в разделах или параграфах, посвященных собирательным числительным, в большинстве случаев приводится короткий ряд из трех-четырех слов: *двое, трое, четверо, пятеро*. А далее общепринятое и понятное всем *и т.д.* показывает, что ряд числительных не закончен и может быть продолжен, поскольку в приведенных примерах представлены словообразовательные признаки собирательных числительных – суффиксы *-ој-е* и *-ер-о*. Однако замечено, что при попытке продолжить счет у носителей языка (студентов неязыковых вузов, школьников) наступает заминка после числительного *семеро*, далее респонденты с неуверенностью произносят *восьмеро, девятеро, десятеро*, и редко кто продолжает – *одинадцатеро, двенадцатеро, тринадцатеро*.

С одной стороны, действительно, наблюдается ограниченность в употреблении собирательных числительных, следующих после числительного *семеро* (заметим попутно, что наречия – *восьмером, вдесятером* – не вызывают никаких замешательств ни при образовании, ни при употреблении). С другой стороны, научные и справочные издания указывают на образования типа *тринадцатеро* или *восемнадцатеро* либо как на просторечие, либо как на индивидуальные образования [1, 2, 4], что в свою очередь свидетельствует и о продуктивности суффикса *-ер-о*. Эти собирательные числительные, зафиксированные в разговорной и художественной речи, наводят на мысль о том, что аббревиатура *и т.д.* в современных изданиях не только экономит текстовое пространство, но и служит показателем какого-то факта русского языкового состояния. Для доказательства этого нам придется расширить языковые границы и обратиться к истории.

Памятники деловой письменности Московской Руси XVI–XVII веков – приходные и расходные книги монастырей, таможенные и кабальные книги, разного рода отчеты и грамотки – указывают нам на активность словообразовательной модели (суффикса *-ер-о*) собирательных числительных в этот период. Обычно собирательные числительные употреблялись при счете предметов, состоящих из двух частей, неделимых или разъемных, – штанов, рукавиц, ногавок (особых чулок или гамаш), сапог, дверей. Приведенные примеры демонстрируют, на-

сколько пространны границы счетного собирательного ряда: “Восьмерь портки”; “А дверей нижних двенатцетеры”; “Одиннадцатеры сапоги”; “Трицатеры ноговицы”; “Куплено рукавиц голых двоенатцатеры”; “Восьмидесятеры (!) верховеньки (рукавицы)”. Иногда собирательные числительные употреблялись и для счета непарных предметов: “Явил...осетров...пятдесятры рыб осетрин”.

Для удобства счета парами, по два предмета, были приняты особые мерные единицы – *гнездо, обувь, соха* и др. С названиями этих мер могли сочетаться как количественные числительные, так и собирательные: “Куплено в казну Пироского погосту у крестьянина у Коземки Панкратьева на пятьдесят сох лемешев без присохов”; “Купили десятеры сохи большого железа...с сошником”; “Девятеры обуви сапогов”; “Три гнезда нашивки с кистями”.

В отличие от языка Московской Руси в современном литературном языке уже не допускается употребление собирательных числительных с неодушевленными объектами счета. Ограничения касаются и сочетаемости собирательных числительных с одушевленными существительными. Так, не употребляются с собирательными числительными существительные женского рода и существительные, называющие животных (за исключением названий детенышей животных) [6].

При указании на какую-либо количественную общность людей в современном языке нормативно использование собирательного числительного без называния объекта счета. Например, в поговорках (*Семеро одного не ждут*), в названиях кинолент (“Трое вышли из лесу”, “Двое”, “Двое на мосту”), в названиях литературных произведений (М. Горький “Трое”, А. Мошковский “Пятеро в звездолете”) и др. собирательные числительные указывают также и на присутствие в какой-либо общности лиц обоих полов.

В повести Б. Лавренева “Сорок первый” героиня Марютка Басова читает стихотворение собственного сочинения (этот эпизод сохранен и в киноэкранизации Г. Чухрая). “Я всю кровь в них вкладаю, – говорит героиня о своих стихах. – От сердца пишу, с простоты”.

“Мы их били с пулемета,
Пропадать нам все одно,
Полегла вся наша рота,
Двадцатеро в стень ушло”.

Культурная (языковая) память подсказывает Марютке возможность образования числительного *двадцатеро* с помощью суффикса *-ер-о*, которое в данном случае всецело выполняет функцию собирательности – указание на некое сообщество (бойцов одного отряда).

В соответствии с современной нормой собирательные числительные употребляются также и с объектом счета, выраженным существительным *люди*. Это существительное представляет собой супплетив-

ную (образованную от другого корня) форму множественного числа от существительного *человек*. При замене собирательного числительного на количественное должно меняться и существительное, называющее объект счета: “*Четверо отважных людей, vous comprenez...*” (к/ф “Корона Российской империи”) – четыре отважных *человека*.

Теперь сравните известную с детства пиратскую песню из “Острова сокровищ”: “*Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!*” с песней, ставшей гимном затянувшегося телешоу “Дом-2” на ТНТ, – “*Пятнадцать клёвых людей На проекте “Дом-2”*”.

Обычно, отвечая на вопрос о речевых ошибках во второй песне, респонденты сразу называют (несмотря даже на частотность употребления молодежью) жаргонизм *клёвый*, отмечая его стилистическую неуместность. Вторая ошибка (сочетание “количественное числительное + сущ. *люди*”) не всегда замечается, как не замечается она несколько лет руководителями ТНТ и телешоу.

В.В. Виноградов отметил *десятеро* последним в ряду собирательных числительных и поставил после него точку, тем самым показав, что в современном литературном языке все последующие образования ненормативны [1]. Часто встречающееся *и т.д.* становится хранителем языковой памяти, заключает в себе длинный ряд ранее употреблявшихся собирательных числительных, а также дает возможность образовывать ненормативные варианты, которые используются носителями языка в разных целях (например, писателями для создания речевой характеристики персонажа).

Литература

1. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 2001.
2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. М., 2001.
3. Котков С.И. Как обходились без слова *пара*? // Русская речь. 1982. № 6.
4. Краткая русская грамматика. М., 2002.
5. Региональный исторический словарь 2-й половины XV–XVIII в.: по памятникам письменности Смоленского края. Смоленск, 2000.
6. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке для работников печати. М., 1971.
7. Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв. СПб., 2004 – (издание продолжается).
8. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975 – (издание продолжается).

Уместен ли “местный акцент” в публичной речи?

© Э. Д. ГОЛОВИНА.

кандидат филологических наук

Речь человека способна сказать о нем намного больше, чем его одежда, прическа, марка личного автомобиля и т.д. Она безошибочно выявляет и меру образованности говорящего, и его интеллектуальный уровень, и его социальный и профессиональный статус, и, наконец, место его рождения и обитания.

Специалисты считают, что «территориальная принадлежность говорящих (место, где прошло детство, место наиболее длительного жительства) – самый “влиятельный фактор”» [1].

Пожалуй, более чем где бы то ни было в России, этот фактор значим на Русском Севере, а в особенности в Кировской области. Ее территория, искони окруженная нерусскоязычными народами, представляет собой своеобразный заповедник северных говоров, впитавших интонационные и другие особенности речи соседей. Тем более что в последние столетия миграция населения здесь имеет преимущественно одностороннюю направленность: село – города Кировской области – другие регионы страны.

Местная окраска характеризует язык не только сельских, но и городских жителей региона. Профессор Н.М. Каринский, почти столетие назад исследовавший речь коренного вятского населения, пришел к выводу: “Язык образованной части общества г. Вятки содержит яркое смешение московско-городского языка с вятскими особенностями речи” [2].

В какой мере явления, подмеченные ученым в прошлом веке, актуальны для нашего времени?

Наблюдения показывают, что устную речь местных жителей и сегодня отличает вялость работы губ и языка, закрытость и нечеткость артикуляции (“каша во рту”). Вот как описывают подобное произношение уральские исследователи Т. Ерофеева и Ф. Скитова: “Нижняя челюсть при разговоре напряжена и малоподвижна; расстояния между зубами почти нет; создается впечатление, что верхняя и нижняя челюсти при разговоре связаны тугой резинкой... Ударные гласные, особенно А и О, ... приобретают ы-образный характер” [3].

Признанный авторитет в русской диалектологии, В. Даль, в своем “Толковом словаре живого великорусского языка” констатирует:

В устной речи образованных кировчан уже нет таких северных произносительных черт, как /о/ в заударных окончаниях (*заявленьё*, в *первой* класс, *будёшь* братья), /ч/ на месте буквы Щ (*женщина*, *хичный*, *овочной*), мягкие шипящие /ж/ и /ш/ (*ш'ирокий*, *лыж'и*), смягченные заднеязычные (*Колькя*, *Анькя*). Однако по-прежнему наблюдается целый ряд отклонений от литературных норм, формирующих диалектный рисунок устной речи.

В сфере согласных это твердое /ш/ на месте буквы Ш: в *общем*, *налогоплательщик*, *морщины*, *ящики*, *осуществлять*, *швы*, *шпать*; мягкое /ш'/ на месте буквы Ш: в *ближайшие* пять лет, *скорейший*, *шейпинг*; твердое /н/ в сравнительных формах: *меньше*, *раньше*; мягкое суффиксальное /н/ в прилагательных: *подходящий* налог, *блудный* сын, *спальные* места; твердые губные в конце слов: *голуб*, *бров*, *морков*, *сем*, *познаком* и т.п.

Общерусские акцентологические проблемы у кировчан усугубляются за счет местной специфики, отмечаемой в сфере разных частей речи. Это существительные (дОставка, пошел на нОправку, вЁсну, сОсну, с бантОм, за шкафОм); прилагательные (двоюрОдный, ходО-
вый, привОзный, стИральный); глагольные формы (полОжить, рЕ-
шить, озорнИчать, найдЁны, решЁны); наречия (недавнО, наискОсь).

В активном словаре жителей Кирова разных возрастов насчитывается в совокупности не менее тысячи лексических диалектизмов, не известных общерусскому языку.

Диалектные слова не редкость в местных СМИ, например: “Тонкие *вички* метлы” (Я расту. 2002. № 117–118); “Послышалось *скырканье* крыс” (Всем. 2000. № 12); “Мишка и Федька росли на радость всем, словно *натопыши* – плотными, розовощеками” (Кировская правда. 1996. № 78); “Изгои, мелкая *ошошь*” (Кировская правда. 1999. № 41); “Портрет несколько лет назад на *подволоке* старого дома обнаружила праправнучка” (Вятский край. 1999. № 118); “И тогда мать *навздевала* на парня ворох одежды” (Вятский край. 1999. № 118).

Если в художественном произведении передача местного колорита в речи персонажей уместна и оправдана, то в процессе официально-деловой коммуникации должен использоваться литературный язык и должны неукоснительно соблюдаться все его произносительные, грамматические, лексические нормы. Говоря словами классика, следует выражаться “по-русски, а не по-вятски и не по-балахонски”.

В индивидуальной речи “местный акцент” необходимо решительно изживать. В первую очередь это относится к людям публичных профессий – к чиновникам, депутатам, представителям творческой интеллигенции, деловым людям. Прав известный языковед В. Чернышев: “На сцене, на кафедре, на публичном чтении считается особенно неблагозвучным в устах образованного человека какой бы то ни было местный говор” [4].

Как и всякое другое свидетельство невладения нормами литературного языка, диалектная окраска речи обращает на себя внимание слушателей (что очень нежелательно, так как не повышает, а понижает эффективность коммуникативного процесса) и вызывает у них сомнения насчет достаточной образованности и культуры говорящего. Помнится, как во время выступления в Кировской областной библиотеке имени А.И. Герцена наш бывший земляк писатель В. Крупин сокрушался, что в Москве ему постоянно делают замечания типа: “Уж больно по-вятски ты говоришь!”

Носителю местного говора труднее всего перестроить произносительные стереотипы, которые складываются у человека в самом нежном возрасте. Оканье, стяжение гласных и другие черты “вятского акцента” нередко сохраняются и в речи людей с высшим образованием, мешая их успешной профессиональной деятельности. О том, как диалектная окраска речи стала причиной карьерного фиаско, недавно рассказала в материале “Я вятского узнаю по акценту...” одна из городских газет: «Кировчанка, психолог с красным дипломом, отправилась “осваивать” Санкт-Петербург..., но работы не получила нигде: “С таким акцентом Вы собираетесь работать с людьми?”»

Перестроить артикуляционные стереотипы можно только при действенном желании, постоянном самоконтроле и упорной работе под руководством специалиста. Благодаря воспоминаниям современников известно, как победил свое оканье великий певец Ф. Шаляпин и как “из-

жил свое южнорусское произношение” писатель К. Чуковский. Сам Корней Иванович признавался также, что ему пришлось овладевать нормами литературного русского ударения: “Когда я приехал из Одессы в Петербург и впервые выступил с докладом на литературном вечере, я сделал девяносто два неправильных ударения. Городецкий подсчитал и сказал мне об этом. Я тотчас засел за словарь, и больше уже этого никогда не повторялось”.

Задача номер один для многих кировских чиновников, которых иногда мучительно слушать, – устранение уже упомянутого “вятского” акцента. Но для этого нужна упорная учеба.

Согласно федеральному закону “О государственном языке Российской Федерации”, принятому в 2005-м году, недопустимо “использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка”. То есть закон недвусмысленно обязывает чиновников, представляющих власть на разных ее уровнях, знать и безоговорочно соблюдать литературные нормы: без ошибок произносить слова, грамматически правильно строить фразы, выбирать точные определения, не злоупотребляя диалектизмами, жаргонизмами, вульгаризмами.

Безупречная речь – обязательный компонент профессиональной культуры всех без исключения должностных лиц и руководителей уже потому, что русский язык – это не только наше общенародное достояние, но и символ российской государственности, как гимн, герб, флаг.

Литература

1. Земская Е.А., Крысин Л.П. Московская школа функциональной лингвистики: Итоги и перспективы исследований. М., 1998. С. 3.
2. Язык образованной части населения г. Вятки и народные говоры // Уч. зап. Ин-та языка и литературы. Т. 3. М., 1929.
3. Локализмы в литературной речи горожан. Пермь, 1992. С. 53.
4. Чернышев В. Избранные труды в 2-х т. Т. 1. М., 1970. С. 56.

Язык прессы

КОГДА ГАЗЕТНЫЙ ЗАГОЛОВОК – КАЛАМБУР

© С. Г. МИХЕЙКИНА

Современные журналисты при создании заголовков любят прибегать к языковой игре, используя каламбур.

Вслед за Т.А. Гридиной мы понимаем каламбур “как любую словесную игру, создающую одновременное параллельное двойственное восприятие ассоциативно связанных значений в сознании отправителя и получателя, а также как несоответствие плана содержания и плана выражения с целью получения комического эффекта” [1].

Фонетические возможности каламбурного обыгрывания слов проявляются в приеме использования звукописи: “Ж-ж-жуткая особа!” (Сударушка. 2004. № 24), “Борьба с з-з-занудством” (Веч. Москва. 2004. 15 июля), “Пройдет ли московский “дощщ”?” (АиФ. 2007. № 12). Первый заголовок имитирует звук летящей пчелы, второй – писк комара, которые, как правило, вызывают неприятные ощущения у большинства людей и желание от них избавиться. Статья о мерах предосторожности на природе, средствах борьбы с насекомыми, бесспорно будет прочитана большинством читателей благодаря авторским находкам фонетической экспрессии. Создается иллюзия общей проблемы, возникает доверие к журналисту, изучившему пути ее решения, и желание принять его советы. Третий заголовок напоминает о старомосковском произношении, привлекая внимание к проблемам современного состояния русского языка. На наш взгляд, журналист подходит к решению своих задач необычно, можно сказать, изысканно. Профессиональное мастерство поиска экспрессивных средств как раз проявляется в интеллигентном подходе к общению журналиста с читателем, а не в эпатажных, “кричащих” заголовках, порой использующих даже нецензурную лексику.

К фоносемантическому уровню относится омонимия. “Использование омонимов всегда было характерно для каламбуров” [2]. В газетных заголовках каламбурному обыгрыванию подвергаются все типы омонимов (полные омонимы, омофоны, омографы, омоформы): “Образование за границей. Сколько это *стоит* и *стоит* ли платить?” (Веч. Москва. 2004. 27 нояб.); “Не мука, а мука” (Веч. Москва. 2004. 5 февр.); “Плачу за всех и плачу” (АиФ. 2005. № 10); “Душа прольется из души”. CD альбом “Душ для души” певицы Любаша (Сударушка. 2006. № 12).

Многочисленны примеры каламбурного сближения слов на обыгрывании сходства в звучании слов: “Мама, папа, я в “МАМИ” попал!» (Автомеханик. 2004. № 16); “Морока в Марокко” (Веч. Москва. 2004. 21

апр.); “Паводок на поводке”, “Колейность без келейности”, “Сыр – барский, бар – сырный” (Сударушка. 2004. № 24); “Арии вокруг аварии” (Веч. Москва. 2004. 1 окт.).

Лексико-семантические варианты многозначного слова, употребленные в пределах одного контекста, позволяют авторам создавать образные метафоры, оживляя тонкие смысловые ассоциации. Это дает возможность создания полисемантического каламбура, основанного на совмещении прямого и переносного значений слова: «Хлебное “хлебное” место» (АиФ. 2004. № 21) – статья о том, что качество хлебобулочной продукции ухудшилось. Прилагательное *хлебный* используется в значениях: 1) пищевой продукт, выпекаемый из муки; 2) выгодный, прибыльный. “Слабый пол слаб, а соблазнов так много” (Веч. Москва. 2004. 29 июня). В заголовке обыгрывается прилагательное *слабый* в двух значениях: 1) отличающийся малой силой, мощностью; 2) лишенный твердости, устойчивости. “Слезы с потолка капали и доводили до слез хозяйку” (Веч. Москва. 2005. 5 апр.). *Слезы* – плач; 2) *слезы с потолка* – метафорически описанное протекание крыши.

В каламбурах, основанных на полисемии, высвечиваются тонкие смысловые ассоциации, семантическая целостность слова не нарушается, между его значениями существует определенная смысловая связь. Именно это обстоятельство позволяет различать понятия полисемии и омонимии, так как ассоциации в словах-омонимах основаны только на звуковом тождестве. Однако “обыгрывание многозначности или омонимии лексических единиц путем одновременной актуализации альтернативных возможностей интерпретации одной и той же языковой формы” образует ассоциативное наложение. Создается такой тип ассоциативного контекста, в котором один ассоциат воспринимается на фоне другого [1].

В следующих заголовках отношения между частями носят название “комического шока” [3]: «“Арбатская” сменила пол. Реконструкция западного вестибюля станции подходит к концу» (Веч. Москва. 2007. 6 июля); «Есть первая доза! Репортер “Вечерней Москвы” продолжает успешно участвовать в испытаниях вакцины от птичьего гриппа» (Веч. Москва. 2006. 14 июня). Явление, сначала внешне удивительное, оказывается естественным и понятным. В.З. Санников описал процесс восприятия подобного типа фразы: растерянность, дезориентированность в связи с новизной, необычностью комического объекта (“фаза шока”); “фаза озарения”, “фаза комической радости”, вызванная освобождением от нервного напряжения.

Трансформация значения слова может происходить путем шрифтового выделения доминирующего концепта: “Сумасшедшие *КАРТежники*” (Веч. Москва. 2004. 30 сент.); “*ЗАМОРОЖЕННАЯ* жизнь (АиФ. 2007. № 30); “Зачем нам недо*ДУМ*Анные законы?” (Веч. Москва. 2004. 29 июня); “*НесЧастная* клиника” (Моск.комс. 2004. 25 нояб.); “Уловки

оКРЕДИТации” (АиФ. 2007. № 27); “HeCHOCные времена” (Моск. комс. 2007. 27 июля); “Качество поГОСТИло и ушло” (АиФ. 2006. № 18); “ТРИУМФальная премьера” (Сов. спорт. 2007. 5 окт.).

Возьмем заголовок *Сумасшедшие КАРТежники*. Прежде всего он ассоциируется со значением “страстные игроки в карты”. Это тот ассоциативно-смысловой фон, на основе которого рождаются новые смыслы у графически выделенного элемента *КАРТ* (“ночной микролитражный автомобиль без кузова с ограниченными габаритами, предназначенный для соревнований на небольшой площадке”). Как правило, заголовок такого типа сопровождается повторением выделенной части в подзаголовке (“Карт – машина серьезная”) или в самом тексте, что является естественной мотивацией выделенной части.

Шрифтовое выделение значимой части слова – распространенный прием графической языковой игры в создании заголовка. Участились заголовки “с ошибкой”, образованные по данной модели: “Москвичей возмут в *ЗООложники*” (Моск. комс. 2005. 26 марта); “Запад в *СМИ-тении*” (Веч. Москва. 2005. 25 марта); “РАДАваться рано” (Моск. комс. 2006. 29 марта); “Школьники не хотят быть *безРОБОТными*” (Моск. комс. 2007. 4 сент.). Ассоциативно-смысловой фон, который возникает при прочтении заголовка, программирует подсознание на ошибочный вариант. Правда, учитывая тенденцию к снижению грамотности в современном обществе, можно считать данные эксперименты нарушением лингвотики по отношению к читателям.

Каламбурная антонимия – продуктивный прием на протяжении всей истории каламбура: “Хорошая копия с плохого оригинала” (Спорт-экспресс. 2007. 24 мая); “Замах на рубль, удар на копейку” (Веч. Москва. 2007. 10 июля); “Горячая страсть к холодному оружию” (Сов. спорт. 2005. 1 июня); “Грязные деньги в чистом кошельке” (Труд. 2005. 2. апр.); “Холодная вода на горячую голову” (Веч. Москва. 2004. 26 мая); “Тяжелые медали на легкой воде” (Сов. спорт. 2004. 29 нояб.).

Существование антонимов в русском языке обусловлено характером нашего восприятия действительности во всей ее противоречивой сложности. В основе антонимии лежит принцип контрастности. Контрастные слова, как и обозначаемые понятия, не только противопоставлены, но и тесно связаны между собой. Ассоциативный эксперимент показывает, что слово-стимул *легкий* часто вызывает антоним *тяжелый*, *белый* – *черный*, *горячий* – *холодный* и т.д. Словесная игра на контрасте высвечивает особую значимость предметов и понятий, придает заголовку особую остроту и афористичность. В газетных заголовках часто противопоставлены слова, не являющиеся противоположными по значению, это так называемые контекстуальные антонимы: “Я зарабатываю – вы отбираете” (Веч. Москва. 2007. 27 сент.); “Париться – не мыться!” (Веч. Москва. 2007. 12 июля); “Я не мечтатель, а фантазер” (Веч. Москва. 2007. 10 сент.).

Явление антонимии используется в *оксюмороне*, стилистическом приеме, который состоит в создании нового понятия соединением контрастных по значению слов. Оксюморон в качестве газетного заголовка встречается на страницах газет, но не часто: “Горечь победы” (Веч. Москва. 2004. 22 июня); “Слабость силы” (Веч. Москва. 2004. 23 дек.); “Окно в новое прошлое” (АиФ. 2005. № 13); “Самые заклятые друзья” (АиФ. 2002. № 5); “Согретые Северным полюсом” (Веч. Москва. 2004. 17 дек.).

Функциональные возможности оксюморона привлекали внимание литераторов с древнейших времен. Это неудивительно, так как оксюморон позволяет поразить воображение, вызвать неожиданные ассоциации, комический эффект или достичь иных целей по замыслу автора. Термин античной стилистики объединяет подчеркнутую противоречивость, с одной стороны, и слияние воедино противопоставленных понятий, с другой. Сознательное “сочетание несочетаемого” – это творческий эксперимент. Контраст всегда ярок, зрительно бросок для выделения единицы из потока речи. Парадоксальность суждения всегда привлекает внимание.

Встречающийся на страницах газет *ономастический каламбур* основан на обыгрывании фамилий, реже – географических названий и других имен собственных. Исследование Л.А. Осиной подтверждает, что “именам собственным свойственен национально-культурный компонент. В именах зафиксирована живая история общества, им присуща групповая и индивидуальная семантика, а также фоновые особенности” [2]. При этом введение антропонимов всегда скрывает за собой пристрастное отношение журналиста к личности известного человека: “Найденный Найденов” (Веч. Москва. 2004. 28 апр.); “Броня Броневого” (Моск. комс. 2003. 17 дек.); “Остроумная игра Ольги Остроумовой” (Веч. Москва. 2004. 5 мая); “Валерия пригожая вышла за Пригожину” (Сударушка. 2004. № 22). «В городе на Волге “Волг” генерал не признавал» (Моск. правда. 2007. 12 мая); «Намедни закрыли “Намедни» (Веч. Москва. 2004. 24 дек.); «“Столица” для столицы» (Веч. Москва. 2004. 17 дек.); “Разноцветная жизнь Цветного бульвара» (Веч. Москва. 2006. 14 июня).

Лексические повторы часто используются для создания газетного заголовка, так как “использование слов одного корня обеспечивает их семантическую близость, а наличие различных аффиксов в составе слова – семантическое различие” [2]; “Застрахованные страхом” (Спорт-экспресс. 2004. 23 окт.); “Зарубежный рубеж” (Веч. Москва. 2004. 30 нояб.); “Куда движется недвижимость?” (Моск. комс. 2007. 9 апр.).

Единичные примеры *деления слова на значимые части* встречаются среди газетных заголовков в роли интеллектуальной игры слов: “Благо творите ли? Добро всегда приходит без посредников” (Моск. комс. 2007. 30 янв.); “Та...ли...я? Обзор диет” (Моск. комс. 2006. 20 июня).

Мы попытались представить каламбурное сближение слов на фонетическом и лексическом уровнях, а также показать, что творческое начало языковой игры заключается в реализации нестандартных, контекстуально обусловленных связей языковых единиц.

Литература

1. *Гридина Т.А.* Языковая игра: стереотип и творчество. Екатеринбург, 1996.
2. *Осина Л.А.* Языковые приемы и средства в истории отечественного каламбура: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2007.
3. *Санников В.З.* Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.



Речи главных героев в “Сказании о Мамаевом побоище”

© Д. И. ИВАНОВ

Самый пространный и яркий памятник Куликовского цикла – “Сказание о Мамаевом побоище” – дошло до нашего времени более чем в двухстах пятидесяти списках, содержащих несколько редакций. Древнейшей из них обычно считают так называемую Основную, которая, по мнению Л.А. Дмитриева, была создана во втором десятилетии XV века [1. С. 342]. Подробно повествуя о событиях великой битвы, автор одновременно характеризует участников событий, передавая индивидуальные черты каждого из них. Значительную роль в характеристике исторических лиц играют их высказывания.

Личности героев раскрываются в монологах, молитвах, обращениях, репликах и других формах языкового выражения. Главный отрицательный персонаж “Сказания о Мамаевом побоище” – Мамай, который первым появляется в тексте произведения. Повесть содержит семь его речей, сосредоточенных преимущественно в начале повествования.

Первый монолог Мамаю представляет собой обращение к его верным слугам – “Еулпатоу и ясаулоу и князем, и воеводам, и всем татаром”, после того как он расспросил “старых татар” о Батыевом нашествии: “Аз не хочу тако сътворити, яко же Батый, и егда доиду Руси и убью князя их, и которые грады красные довлеют нам, и ту сядем и Русью владеем, тихо и безмятежно поживем” [1. С. 26]. Успех нашествия Батыева оказывается для Мамаю недостаточным: он хочет не просто брать дань с Руси, но и стать ее правителем. При этом он совершенно уверен в успехе будущего похода и, еще не совершив его, уже мечтает воспользоваться его плодами. Эта фраза подчеркивает хвастовство врага Руси своей силой, неумную жажду власти и алчность. Тот же мотив встречаем и в двух последующих обращениях Мамаю к татарским воинам: “Пойдем на Русскую землю и обогатим русским златом!”, “Да не пашете ни один вас хлеба, будите готовы на русския хлебы!”. Даже на лексическом уровне мотивировка необходимости похода едина: Мамай обещает ордынцам “грады красные”, “безмятежную жизнь” на “русских хлебах”, богатство и “злато”.

К тому же в первой речи Мамая виден намек на избранность татар и представление о русском народе как о вассале. Подобное понимание встречаем в послании Мамаю Ольгерду и Олегу Рязанскому, решившим принять участие в походе против Дмитрия: "Мне убо ваша помощь не добре удобна: н аще бых аз ныне хотел своею силою великою и аз бы древний Иерусалим пленил, яко же и халдеи. Н ныне чести вашей хошу..." [1. С. 27]; "мне убо царю достоить победити царя, подобна себе" [1. С. 28]. Мамай мнит себя верховным и властным правителем, который лишь за дорогие подарки и лесть ("на дарех ваших и за хвалу ващу") может одарить Ольгерда и Олега Рязанского властью и совсем не нуждается в их военной помощи, принимая ее как стремление подчиненных ему правителей добиться чести.

Однако уже до начала сражения на поле Куликовом тон речей Мамаю меняется. Услышав от вестника о том, что русские войска переправились через Дон, и что воинство русских князей, как говорит гонец, "четверцею болши нашего събрания", он, "крикнув напрасно, испусти глас": "Тако силы моа, аще не одолею русских князей, т како имам възвратитися въсвоаши? Сраму своего не могу тръпети" [1. С. 38]. Наличие риторического вопроса и слова *срам* рисуют читателю уже другого Мамаю, не царя царей, а уязвленного самолюбием царька.

Затем, видя бегство своих воинов, темник взывает о помощи к своим богам: "Перуна и Салавата, и Раклиа и Гурса... и великого своего пособника Махмета" [1. С. 45], но — обратим внимание — автор дословно не передает молитву Мамаю, а лишь упоминает о ней, цитируя реплику: "Побегнем, ничто же бо добра имам чаати, н поне свои главы унесем!" [1. С. 45]. В этой речи интересно использование слова *добра*, которое, думается, можно толковать не только в значении "хорошее", но и, в свете ранее изложенного, как "имущество, богатство" [2. С. 258].

И, наконец, автором приведен плач Мамаю — его обращение к четырем спутникам, бежавшим с ним с поля боя: "Уже нам, братие, в земли своей не бывати, а катун своих не трепати, а детей своих не видати, трепати нам сырая земля, целовати нам зеленая мурова, а с дружиною своєю уже нам не видатися, ни с князи ни с алпауты!" [1. С. 45]. Образы этого плача, отражающие тоску по своей земле, по семье, противопоставление ласки жен ласке сырой земли восходят к фольклорным традициям. Поэтический язык плача Мамаю совсем не согласуется с образом того "окаянного", "поганого" правителя, сравниваемого автором с "неутолимой ехидной", "дышащей гневом", каким он изображен в начале повествования. Если бы этот отрывок был рассмотрен вне контекста и без упоминания слова *алпауты*, то читатель бы отнесся с сочувствием к герою. Но противопоставление, выраженное через речи персонажа: гордящегося своей силой правителя в начале повествования жалкому беглецу, думающему только о своем спасении, в конце — выявляет иронию автора "Сказания" по отношению к побежденному властелину.

Таким образом, речевая характеристика Мамаю и ярче и полнее представляет образ поверженного врага, раскрывая значение победы русских воинов.

Образ главного врага Мамаю – Дмитрия Ивановича – противопоставлен ему, в том числе и с помощью речей.

Автор следует агиографической традиции, часто изображая Дмитрия молящимся Богу и святым. Уже первый эпизод, когда герой предстает перед читателем, – это молитва перед иконой, в которой он просит Бога защитить Русь от жестокого врага. Дмитрий изображен кротким, умиротворенным, в его душе нет ни злобы на врагов, ни страха перед ними – в словах звучит лишь надежда. Герой никого не обвиняет в постигшей родину беде, но причину ее видит в собственных грехах, что соответствует христианскому представлению о возмездии за грехи: “И ныне, Господи, Царю, Владыко, не до конца прогневайся на нас, вем бо, Господи, яко мене ради, грешнаго, хоцещи всю землю нашу погубити; аз бо съгреших пред тобою паче всех человек” [1. С. 28].

В житиях молитва предворяет поступок героя, духовно ориентирует его; герой соотносит задуманное с волей Божией. В молитве святой испрашивает помощи небесных сил на подвиг – мученический (в “Сказании о Борисе и Глебе”) или воинский (как в “Житии Александра Невского”). Автор “Сказания о Мамаевом побоище” делает молитву существенным элементом в раскрытии образа главного героя, представляя князя православным правителем, осознающим ответственность перед Богом за свой народ и понимающим тщетность только военных усилий в борьбе с татарским игом.

“Сказание” содержит большое число молитв князя к Богородице, князьям Борису и Глебу, Александру Невскому, митрополиту Петру. Автор выражает в них сердечные устремления героя, его сокровенные мысли и чувства. Часто молитвы составлены из фрагментов псалмов, церковных песнопений и евангельских цитат. Но это не механическое их перенесение из ранних источников, в частности – житий, хотя житийный канон предполагал некую универсальную формулу молитвы. В этом произведении молитвенный речевой строй становится более напряженным, что свидетельствует о понимании автором трагизма событий эпохи Куликовской битвы, когда решался вопрос не только о независимости Руси как самостоятельного государства, но и о самом ее существовании.

Автор сознательно изобразил Дмитрия в слезах и кручине, усиливая этим мотив страдания за веру и отечество, называя князя смиренным и смиренномудрым человеком “небесных желаа и чаа от Бога будущих благ” [1. С. 27]. Духовные устремления предводителя русских войск противопоставляются в произведении корыстным замыслам Мамаю.

Часто обращается Дмитрий и к князьям, называя их при этом братьями, и ко всему войску. Так, накануне битвы он произносит: “Братиа моа милаа, сынове русскыа, от мала и до велика! Уже, братие ношь приспе и

день грозный приближися – в сию ночь бдите и молитесь, мужайтесь и крепитесь, Господь с нами, силен в бранех...” [1. С. 39]. Монологи Дмитрия содержат призыв к единству во имя святой цели – защиты Родины и Церкви. Эта искренняя забота обо всей Русской земле, а не только о своем княжестве, находит отклик у братьев. Дмитрий никогда не приказывает братьям повиноваться ему, как это делает Мамай по отношению к своим союзникам, но всегда с кротостью и смирением умоляет их не малодушествовать, а сразиться с врагом, призывая вспомнить подвиги их прадеда Владимира Крестителя: “Братие, князи русские, гнездо есмь Владимира Святославича Киевского, ему же откры Господь познати православную веру, яко же оному Еустафиу Плакиде; иже просвети всю землю Русскую святым крещением, изведе нас от страстей еллинских и заповеда нам ту же веру святую крепко дръжати и хранити и поборати по ней. Аще кто ея ради постражеть, то в оном вѣце с святыми прѣвомучившимися по вере Христове причтен будеть. Аз же, братие, за веру Христову хочу пострадати даже и до смерти” [1. С. 30].

Таким образом, агиографические черты органично проникают в художественную ткань воинской повести через речи, и образ князя Дмитрия становится персонификацией качеств христианина-праведника – набожности, братолюбия, общерусского патриотизма. Все это позволяет говорить о том, что речи и молитвы связаны с задачей автора идеализировать главного героя, показать его как образец князя, верного Богу и Отечеству.

Приведенный материал позволяет говорить о значительной роли речей главных героев в “Сказании о Мамаевом побоище”: они передают контраст не только действий предводителей двух вражеских войск, но и их мыслей, чувств, побуждений.

Литература

1. Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982.
2. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1977–. Вып. 4.
3. Сказание о Борисе и Глебе // Памятники литературы Древней Руси. XI – начало XII века. М., 1978.



Российский *крестьянин* в XV–XVI вв.

© Е. А. ЧАЩИНА,

кандидат филологических наук

Сельское население в Московском государстве носило разные наименования, но чаще всего с этой целью использовался термин *крестьянин*. Данное слово возникло после татарского нашествия, когда русское население, в отличие от “нехристей”, стало именовать себя “христианами”. Однако вскоре этот термин стал использоваться для обозначения сельского населения страны [1].

Причины переноса наименования всего русского народа на сельскую часть населения остаются невыясненными. В XIV и XV веках *крестьянами* назывались члены общества, состоящие в сельских общинах, выполнявшие необходимые повинности и платившие установленные пошлыны [2. С. 21].

Для наименования земледельцев в деловых документах использовались термины: *половник*, *серебренник*, *наймит*, *дворник* и др.

Крестьяне, живущие на чужой земле, могли расплачиваться за землю частью урожая, полученного с этой земли. Те крестьяне, которые отдавали по договору половину урожая, назывались *половниками*. В грамоте верейского и белозерского князя Михаила Андреевича на Белоозеро 1448–70 гг. говорится: “... а сказывает, что у него отказываете людей монастырских серебренников, и половников, и рядовых людей юрьевских...” [3].

Серебренниками назывались крестьяне, понавшие в зависимость через серебро, т.е. деньги, выплачиваемые крестьянину в счет будущей работы. Как правило, такие ссуды были необходимы крестьянам при поселении на каком-либо земельном участке для того чтобы обзавестись новым хозяйством или расплатиться с прежним хозяином.

Ссуда, выдаваемая крестьянину в счет будущей работы, называлась *серебром издельным*. Деньги, выдаваемые крестьянину при условии уплаты их с процентами, назывались *серебром ростовым*.

Зависимость, возникающая из серебра – явление старое, известное и в Киевской Руси [4. С. 131]. В Древней Руси крестьяне, попавшие в зависимость через серебро, назывались *издельниками* (ср.: *серебро издельное*).

В деловых текстах Московского периода для наименования крестьян, работающих на условиях найма, использовался термин *наймит*. Это слово

было известно еще в Древней Руси. Постановление о найме содержится в “Русской правде”. Как отмечает А.М. Панкратова, понятие “наймит” отличалось неопределенностью. Нормы древнерусского права рассматривали наймита как феодально зависимого человека. Исследовательница подчеркивает тот факт, что в древности право на труд не отделялось от права на личность работника [5. С. 200]. В этой связи, несмотря на то, что в XV–XVI веках создаются условия для реализации институции найма и предусматривается возможность крестьянам и людям других социальных категорий наниматься на работу, наемные работники были сравнительно редки и очень быстро закабалялись. Поэтому термин *наймит* в документах представлен не так широко и использовался в текстах до середины XV века.

Для наименования представителей зависимого населения использовалось существительное *дворник*. В древнерусском языке это слово бытовало в нескольких значениях: “тот, кто убирает двор”; “слуга феодала, исполняющий воинские обязанности”; “лицо, ведающее подворьем”; “лицо, живущее в чужом доме из бедности” [6].

В соответствии с этим значение термина *дворник* можно определить как “холоп, посаженный на землю, обычно за двором господина”: “Хто у них в том дворе учнет жити людей, дворников монастырских, — и тому их дворнику не надобе моя никоторая пошлина...”; “Что их двор в городе в Дмитрове, и хто оу них в том дворе учнет жити дворник, и тому их дворнику не надобе моя, князя Юрья Васильевича, никоторая дань..”.

Кроме того, в составе населения владельческих вотчин выделяются две группы: подвижное население, поселявшееся на господской земле на договорных началах, и *старожильцы*, живущие длительное время на той же самой земле и переходящие вместе с нею от владельца к владельцу [7.С.20].

Институт старожительства представляет собой одно из любопытных, но, к сожалению, малоизученных явлений общественного быта Московской Руси. Грамоты XV века довольно часто говорят о старожильцах: “А хто имет жити люди старожилцев, и тем людям старожилцем не надобе им и мыт и тамга, никоторая дань; которые люди ныне остались в тех селех или которые будут старожильцы из них розошлись по иным местом”.

Памятники упоминают о старожильцах как о свидетелях в земельных процессах, показаниями которых проверяются утверждения сторон о правах на владение теми или иными участками земли или о границах таких участков. Каждая сторона представляет своих особых старожильцев, которые должны были не только подтвердить все заявления сославшейся на них стороны, но еще подкрепить свои показания крестным целованием и готовностью выйти “на поле битися” с старожильцами противной стороны.

В числе судебных старожильцев могли быть люди разных профессий и разного социального положения, однако чаще всего это были крест-

стьяне. Чем дальше в глубь времен проникала память старожильца, тем чаще могли понадобиться его показания. Из судебных дел следует, что в качестве старожильцев фигурировали лица, помнящие за сто и даже более лет. Но наряду с ними встречаются и такие старожильцы, которые помнят за 20 или за 15 лет.

К *старожильцам* относятся не только крестьяне, которые в данный момент живут в феодальных вотчинах, но и те, которые вышли из них, но могущие вернуться обратно.

Крестьяне-старожильцы, ушедшие из феодальных владений и вернувшиеся обратно на те участки, где жили раньше, назывались *пришлыми старожильцами*: "... или которые будут старожильцы из них розошлись по иным местом, а приедут в те села церковные житии опять на свои места, ино тем людем, которые ныне в тех селех живут, да и тем пришлым старожильцем не надобе моя никотораа дань на три годы".

Тутошними старожильцами именовались крестьяне, исконно живущие на своей земле: "И кого собе призовут людеи в то село тутошних старожилцевъ, которые наперед того туто живали, или кого собе призовут людеи из иных княженей, а не из моее вотчины, из великого княжения, и тем людем их старожилцем не недобе моя дань на три годы".

Кроме наименования *тутошние старожильцы* с тем же значением использовалось составное наименование *люди пошлые*, т.е. старинные, живущие на земле своих дедов, прадедов и прапрадедов: "часто люди монастырские пошлые в городе и в селех; а что люди монастырские пошлые и кто живет на монастырской земле, и в те ся люди мои наместници не вступаются".

В письменных источниках *старожильцы* противопоставляются людям *пришлым, новикам или новоприходцам или инокняжцам*.

Под *пришлыми людьми* в грамотах XV века, противопоставляемым *старожильцам*, понимаются пришлые крестьяне из других княжеств. С этой целью используется формула *и кого к себе призовут людей... из иных княжений*, например: "или кого к собе перезовут людей в то село и в те деревни изыных княженей, а не из моей вотчины из великого княженья".

Для обозначения лиц из других княжеств был выработан термин *люди инокняжцы*: "и тем его людем пришлым инокняжцем не надобе моя, великого князя, дань на десять лет; и тем его людем инокняжцем и тутошним старожилцем не надобе ни писчая белка, ни ям...".

В некоторых грамотах в том же значении использовался составной термин *призванные люди*: "А кого к себе призовет жити людей из иных княжений... и тем людем призванным не надобе моя дань на десять лет".

Вместо термина *старожилец* в актах иногда встречается название крестьян по формам поселений *сельчанин* или *деревенник*.

Термином *сельчанин* обозначали сельского жителя, селянина: "...и которые люди у них живут в тех их селех... и в деревнях во всех в мона-

стырских... и тем всем их хрестьяном сельчаном монастырским и деревенщиком не надобе... ям, ни писчая белка”.

Слово *сельчанин* было вытеснено к концу XV – началу XVI века термином *крестьянин*.

Наименование *деревенщик* обозначало жителя деревни. *Деревенщики* имели земельные наделы, пахали пашню, несли феодальные повинности [8].

В грамоте великого князя Василия Васильевича 1455 года дается указание: “тех людей монастырских... и деревенщиков... и тем моим судом не судити”. В грамоте великого князя Ивана Васильевича 1462 года читаем: “и тем всем их хрестьяном монастырским и деревенщиком не надобе ям....”.

Таким образом, для наименования крестьянского населения в письменных источниках используются различные термины, подчеркивающие **условия их социальной зависимости**. Крестьяне, работавшие на условиях найма, именовались *наймитами*, крестьяне, отдававшие половину урожая за пользование землей, назывались *половниками*. Крестьяне, взявшие ссуду для обзаведения хозяйством на своем участке (серебро), были *серебрениками*. Крестьяне различались также в зависимости от прикрепленности к земле: постоянно живущие на земле, – *старожильцы*, *люди пошлые*, *люди давние*; вновь пришедшие на землю из других княжеств, – *люди пришлые*, *инокняжцы*, *новики*.

Большинство терминов появилось в период Московской Руси, и только некоторые из них, например, *наймиты*, являются наследием Древней Руси.

Литература

1. Черных П.Я. Очерк русской исторической лексикологии. М., 1956.
2. Беляев И.Д. Крестьяне на Руси (исследование о постепенном изменении крестьян в русском обществе). М., 1903.
3. Примеры приводятся из: Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XV века. М., 1952–1964.; Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI вв. М., 1951–1961.
4. Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVIII века. М., 1954. Кн. 2.
5. Панкратова А.М. Наймиты на Руси в XVII в. // Академику Б.Д. Грекову ко дню семидесятилетия. Сб. ст. М., 1952.
6. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975-.
7. Дьяконов М.К. К истории крестьянского прикрепления. СПб., 1893.
8. Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV–XV веках. М., 1960.

Грамматические учения XVI–XVII веков в России и Европе

© М. Э. КИСТЕРЕВА

В отечественной традиции первой грамматикой русского языка принято считать грамматику Ломоносова. Первая русская грамматика появилась позднее европейских, но в России XVI – начале XVII века уже существовали работы, которые были составлены на живом языке и создали предпосылки зарождения новой русской лингвистической традиции, впоследствии развившейся в современную.

Заметим, что самые первые грамматики собственно русского языка создавались иностранцами и для иностранцев, вначале как краткие описания языка, сделанные в качестве приложения к разговорникам или словарям. Такими работами были грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого [1], они описывали церковнославянский язык с комментариями на “простой мове”. Обе эти грамматики являются показательными в плане преемственности традиций в русской грамматической школе: они впитали в себя учения предшественников, по-своему их адаптировали и впоследствии послужили понятийно-терминологической основой для более совершенных описаний русской грамматики. Церковнославянский язык был тесно связан с древнерусским (он же “простая мова”, живой русский язык). Эта связь была очень сложной и неоднозначной, поэтому до сегодняшнего момента не существует единой точки зрения о соотношении церковнославянского языка и русского разговорного.

Грамматика Зизания адресована *ученикам*, а Смотрицкого – *учителям*. Так, в предисловии Зизаний обращается к ученикам (“Послание спудеом”, “Стихи к младенцем введяши их на дело”), а Смотрицкий – к учителям (“Учителем школным автор ...”).

В начале грамматики Зизания перед читателем предстает краткая стихотворная “эпиграмма на грамматику”: разъяснение высокого предназначения грамматики, взывание к разуму как руководящей силе при изучении языка и грамматики в частности. Затем следуют обращения к адресатам.

Смотрицкий начинает свой труд с небольшого вступления о роли грамматики славянского языка, в сравнении с латинской и греческой.

Собственно грамматики у Зизания и Смотрицкого состоят из четырех разделов – как видим, дань отдается полностью греко-латинской грамматической традиции. Первый раздел – *орфография* (фонетико-

орфографический раздел), второй раздел – *просодия* (учение о видах ударения, его обозначения), третий и самый большой по объему раздел – *этимология* (морфология), раздел о восьми “частях слова и их последующих (*accidentia*)”. Синтаксис у Зизания заявлен как раздел в начале грамматики в перечне ее четырех частей, но в самом тексте грамматики не выявлен. У Смотрицкого он представлен в правилах “сочинения осмии частей слова”.

В целом, Зизаний следует катехизисной форме изложения (вопросно-ответная форма). В каждом из разделов следует текст с кратким изложением темы, далее его “толкование” (более простое объяснение темы на “простой мове”). Смотрицкий отказывается от подобной формы представления материала: его текст напоминает больше подробно расшифрованную таблицу, грамматическое понятие получает объяснение и подкрепляется примером, чаще всего в виде парадигмы.

Заканчивается грамматика Зизания “толкованием молитвы, которой господь научил учеников”, и призывом к ученикам продолжать разыскания автора. Труд Смотрицкого завершается прославлением Бога на церковнославянском и греческом языках.

Грамматика Зизания – одна из первых восточнославянских грамматик церковнославянского языка. Одновременно с этим – первая реализация греческой грамматической традиции “на материале церковнославянского языка восточнославянской редакции (или русского извода)” и первая систематическая грамматика церковнославянского языка.

В целом грамматики Зизания и Смотрицкого объединили греческую и латинскую традиции, но, тем не менее, исследователи отмечают преобладающую ориентацию на латинскую грамматику у Зизания и на греческую у Смотрицкого. Итак, традицию “славяно-греческого” типа грамматики представляет грамматика Мелетия Смотрицкого (латинский псевдоним *Теофил Ортолог*).

Авторы грамматик также ссылаются в тексте на латинские и греческие языковые примеры.

Грамматика Смотрицкого в качестве основной модели ориентируется на грамматику греческого языка Ф. Меланхтона, К. Ласкариса и М. Крузия, при этом автор обращался и к латинским грамматикам Доната, Диомеда и т.п. Наиболее ярко эта ориентация проявилась в общей структуре грамматики: восемь частей речи и их “последующие”, то есть категории числа, рода, падежа, степени сравнения, времена, лица, числа, наклонения, залоги глагола, семантические разряды наречий и т.д.

Зизаний опирался в основном на опыт следующих трудов по грамматике: “Адельфотес” (“Грамматика доброглаголивого еллино-словенского языка”. 1591, Львов); *Ars minor* (Элий Донат), “*Grammatica Philippi Melanthonis Latina...* (Lugduni, 1564), “*Sciebresinensis Observationum Grammaticarum Libri Guigue...*” (Alberti Basaei, Krakau, 1567), “*Ioannis Ursini Leopoliensis Methodicae Grammaticae libri quattuor*” (Львов, 1592).

И Зизаний, и Смотрицкий выделяли восемь частей речи, следуя греко-римской грамматической традиции. При этом семь из них совпадают: склоняемые – *имя, местоимение, глагол, причастие*, несклоняемые – *наречие, союз, предлог*. Однако имеются и расхождения: Зизаний как последователь греческой традиции ввел различие, или артикль. Смотрицкий опустил описание “различия”, ссылаясь на то, что эта часть речи несвойственна славянскому языку и что ее функции выполняет местоимение. Термин *междометие* Смотрицкий вырабатывает по аналогии с латинским *interiectio*.

Оба автора стремились вписать церковнославянский язык в универсальную по меркам того времени языковую схему. Они были убеждены “в тождественности грамматического устройства разных языков” и равенстве славянского языка по достоинству (*dignitas*) с другими европейскими.

Тем не менее, при более подробном изучении выясняется, что, хотя количество частей речи Зизаний и Смотрицкий установили согласно классической традиции, число последующих (*accidentia*) в данных работах различалось (так же как они различались в греческом и латинском языках). Заимствуя лингвистический материал из различных отдельных работ предшественников, авторы по-разному их переосмыслили.

При этом, как и в любой грамматике, заимствованные грамматические системы не могли быть вполне адекватны строю славянского языка. Необходимость приложения греко-латинских схем к славянскому языковому материалу обусловило создание в грамматиках Зизания и Смотрицкого искусственных парадигм и категорий.

Как видим, русские авторы при написании грамматик опирались на античную традицию, что в свою очередь можно считать общей тенденцией науки эпохи Возрождения.

Ориентация на устоявшийся и признанный грамматический канон, вероятно, обусловлена стремлением поднять престиж новых языков. Новый язык надо было описать так, чтобы он не уступал по богатству грамматического содержания классическим языкам.

Эпоха Возрождения стала значительным и переломным этапом в развитии лингвистической науки и одновременно периодом становления основных европейских языков. В то время Россия находилась на периферии культурного развития, так как была отдалена от центра культуры и науки (Италия, Германия, Франция) географически и отчасти духовно, будучи культурной наследницей Византийской империи.

В то же время существовали и европейские страны, которые можно отнести к периферийным областям. Таким примером можно считать Португалию. Первыми грамматиками португальского языка считают работы Фернана Оливейры (Fernão de Oliveira) [2] и Жуау Барруша (João de Barros) [3].

Все грамматики так или иначе опираются на сходную схему: они делятся на четыре основных раздела.

Количество частей речи опирается в основном на непреложную каноническую цифру *восемь*. При этом у некоторых авторов присутствует отступление от этого числа: у Зизания и Смотрицкого частей речи восемь, при этом их состав различается (ср. *артиклъ* у Зизания и *междометие* у Смотрицкого), Барруш выделял артиклъ в девятую часть речи, у Оливейры упоминаются не все части речи.

Общими источниками из Античности послужили для грамматиков латинские авторы Донат и Присциан, при этом славянские грамматисты (в основном Смотрицкий) соединяют латинскую традицию с греческой (заимствования из греческих авторов: К. Лакарсис, Ф. Меланхтон и т.д.).

Таким образом, при первом общем рассмотрении в первых грамматических работах “новой” лингвистической традиции можно обнаружить немало сходных тенденций, которые, возможно, имеют связь с общим стремлением к унификации образовательного процесса и приведению науки о языке к единым стандартам.

Литература

1. Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. Предисл. Е.А. Кузьминовой, М.Л. Ремневой. М., 2000.
2. *Oliveira, Fernão de*. Gramática da linguagem portuguesa, edição crítica, semidiplomática e anastática por Amadeu Torres e Carlos Assunção com um estudo introdutório do Prof. Eugenio Coseriu. Lisboa, 2000.
3. *Barros, João de*. Gramática da língua portuguesa, cartinha, gramática, diálogo em louvor da nossa linguagem e diálogo da viciosa vergonha, reprodução facsimilada, leitura, introdução e anotações por Maria Leonor Carvalhão Buescu. Lisboa, 1971.



Забывтая грамматика XVIII века

© Е. Е. ГЛУБОКАЯ

У прибывших в XVIII веке в Россию многочисленных иностранцев возникала проблема освоения русского языка. Изучать русский язык приходилось и их детям. В течение XVIII века в России выходит несколько учебных пособий по русскому языку, написанных на французском и немецком языках, что свидетельствует об их практической востребованности.

В 1730 году была опубликована на французском языке грамматика русского языка, автором которой был И.С. Горлицкий (1688–1777), переводчик Академии наук, видный лексикограф того времени. В 1731 году выходит в свет написанная на немецком языке грамматика русского языка адъюнкта Академии наук В.Е. Адодурова (1709–1778 или 1780), активного члена Российского собрания любителей русского слова. Была предпринята также попытка использовать “Российскую грамматику” М.В. Ломоносова как пособие для обучения русскому языку иностранцев. Потребность в них была столь велика, что президент Академии наук К. Г. Разумовский уже в январе 1757 года, когда типография еще занималась брошюровкой “Российской грамматики”, приказал перевести ее на немецкий язык. Данный перевод не решил проблемы пособия по русскому языку для иностранцев, так как оказался сложным для начального обучения.

В 1768 году в Петербурге было опубликовано на французском языке пособие Шарпантье “Основы русского языка, или краткий и легкий метод изучения этого языка в соответствии с его употреблением” [1]. В нем широко использовались как теоретические положения, так и иллюстративные материалы “Российской грамматики” Ломоносова. “Основы русского языка” переиздавались в Петербурге еще два раза: в 1769 и 1795 годах, что, несомненно, указывает на практическую значимость данного пособия.

Сведения об авторе “Основ русского языка” крайне скудны. В “Энциклопедическом словаре”, изданном Ф.А. Брокгаузом и И.А. Ефронем, сообщается только то, что «Шарпантье (Charpentier, 1740–1800) – французский грамматик, один из многочисленных второстепенных европейских ученых, которые в течение XVIII в. столь легко находили приют под кровом русской Академии наук. Большую часть жизни Шарпантье провел в России, в Петербурге же и умер. Из произведений Шарпантье примечателен опыт изложения того нового, что Ломоносов внес в русскую грамматику; труд этот появился в Петербурге (1768) под заглавием “*Eléments de la langue russe*» [2. С. 186].

Ни в одном из документов, представленных в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, не указывается его имя. По данным этого архива, Шарпантье служил преподавателем французского языка при гимназии Санкт-Петербургской Академии в течение 16 лет, с 1763 по 1779 годы. В аттестате о его службе, который был выдан Шарпантье при увольнении, говорится: “Г. Шарпантье во все время бытности его при оной Гимназии учительскую свою должность исправлял со всевозможным рачением и ревностью к особливому удовольствию Академии, а равно и к пользе обучавшихся у его, г. Шарпантье, французскому языку как академических казенных воспитанников, так и вольных разного звания учеников; и пытаясь преуспеть в своем звании сочинил он сам Российскую грамматику с французским переводом, через что облегчил путь желающим научиться российскому языку иностранцам; а сверх того исправлял временем и должность переводчика с российского и немецкого языков на французский...” [3]. В документах архива отмечается также, что Шарпантье проводил аттестацию иностранцев на право заниматься учительской и переводческой деятельностью. В связи с этим он в 1770–1775 годах составлял отзывы о знании ими французского языка.

В предисловии к “Основам русского языка” Шарпантье подробно изложил историю создания своего труда. Он указал, что если один из двух людей, говорящих на разных языках, выбирает роль учителя иностранного языка, то он обязан выучить язык того, кого он хочет обучать. “Насколько очевидна эта истина в теории, – подчеркивал автор, – настолько она абсолютно оставлена без внимания на практике” [1. С. 3]. Шарпантье писал, что игнорирование этого требования имеет пагубные последствия, так как приводит к напрасной потере времени и искаженному, поверхностному усвоению иностранного языка.

Когда сам автор решил выучить основы языка своих учеников, то напрасно искал учителя и грамматику, которые послужили бы ему гидом. Он нашел на русском языке книги для изучения французского и ни одной на французском, чтобы изучить русский. Потеряв надежду найти где-либо помощь, Шарпантье решил обойтись без нее и посредством упорной работы преодолеть все препятствия, которые противодей-

ствовали бы его целям, а также успехам его учеников. Именно тогда ему в руки попала “Российская грамматика” Ломоносова. Шарпантье в связи с этим писал: “...репутация этого автора позволяла мне надеяться, что я найду у него то, что искал” [1. С. 6].

Он решил перевести на французский “Российскую грамматику”. Однако вскоре Шарпантье пришел к выводу, что дословный перевод является недостаточно вразумительным для иностранцев и адаптировал его. Произведенные упрощения и сокращения определялись целевой установкой: помочь в изучении русского языка французам, которые владеют им только поверхностно, но стремятся говорить на нем достаточно хорошо. “Хотя эта грамматика, – писал автор о своем произведении, – недостаточно объемна, какой могла бы быть, ее можно считать достаточной для выполнения поставленной цели” [1. С. 7]. Следует подчеркнуть, что несмотря на внесенные изменения, основой его работы по-прежнему остались теоретические и иллюстративные материалы “Российской грамматики” Ломоносова.

Вместе с тем, грамматику Шарпантье нельзя рассматривать только как сокращенное и приспособленное к задачам преподавания русского языка французам переложение “Российской грамматики”. Работа Шарпантье во многих отношениях носит самостоятельный характер. “Основы русского языка” свидетельствуют о высоком уровне филологической подготовки автора, знавшего несколько иностранных языков и знакомого с французской лингвистической традицией, идущей от “Грамматики Пор-Рояля”. Шарпантье в связи с тем, что его работа являлась прежде всего пособием по русскому языку для французам, в сравнении с “Российской грамматикой” часто менял порядок изложения, опускал те или иные сведения, которые давал Ломоносов, и, напротив, вносил свои дополнения. Например, в “Российской грамматике” Ломоносова нет раздела, посвященного синтаксису, так как синтаксическая проблематика была передана им в ведение “Риторике”. В “Основах русского языка” Шарпантье изложена глава “О синтаксисе”.

Несомненный интерес представляют такие разделы, как “Упражнения по русскому языку”, “Непринужденные диалоги”, “Русские пословицы и сентенции”.

В разделе “Упражнения по русскому языку” он в качестве учебного материала использовал фрагменты выполненного С.П. Крашенинниковым перевода с латинского на русский произведения римского писателя Квинта Курция (I в. н.э.) “О делах Александра Великого”. Обращение к этому переводу как образцу русского языка в работе Шарпантье свидетельствует о широком признании литературных достоинств трудов автора “Описания земли Камчатки” уже в XVIII веке.

В особый раздел Шарпантье выделил образцы непринужденных диалогов (разговоров) на русском языке, сопровождая их переводом на французский. Эти диалоги, несомненно, имеют жизненную основу, от-

разив ряд особенностей разговорной речи того времени. Например, ее варьирования в зависимости от социального статуса собеседника, присущие XVIII веку типовые обороты речевого этикета.

В разделе “Русские пословицы и сентенции” Шарпантье привел более двухсот пословиц. В данном случае он следовал традиции, согласно которой ученые XVIII века видели в пословицах особо ценный материал для изучения языка. Следует также отметить, что предпринятая Шарпантье публикация собрания русских пословиц является одной из первых.

Шарпантье в “Основах русского языка” призывал к широкому изучению русского языка, являющегося, по его словам, “одним из самых богатых и наиболее энергичных, но еще недостаточно известных” [1. С. 282]. Его работа заслуживает упоминания в истории русистики XVIII века.

Литература

1. *Charpentier*. *Eléments de la langue russe ou méthode courte et facile pour apprendre cette langue conformément à l'usage*. – A Saint Petersburg. De l'Imprimerie de l'Académie Impériale des Sciences, 1768.
2. Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1890–1907. Т. 39.
3. Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Ф.3 Оп. Д. 189. Лл. 36–36 об.

Рязань



“Честъ имею (кланяться)”

© Е. А. БЛИНОВА

Популярное в XVIII–XIX веках учтиво-официальное приветствие при прощании *честъ имею кланяться* существовало параллельно с целым рядом формально похожих выражений с компонентом *честъ*: *почту за честъ*; *оказать честъ*; *пора и честъ знать* и т.п. *Честъ имею* или *имею честъ* употреблялось не только с глаголом *кланяться*, но и с *представиться*, *поздравить*, *явиться*, *оставаться* и т.д., а также с *быть вашим (покорным слугой)*.

Современные значения слова *честъ*: “совокупность морально-этических принципов” и “уважение” соответствуют двум, по времени возникновения, основным уровням понятия “честъ”. На первоначальном уровне *честъ* – это “почет, уважение, почтение”; “чин, звание, должность”; “достоинство”, а также “предмет поклонения, почитания”, “святыня” [1. С. 786].

На следующем уровне *честъ* – это “требования к образу жизни и действиям социальной группы лиц”, историческое понятие, получившее развитие в западноевропейской рыцарской культуре, а затем и в профессиональной армии (*поле чести*, *суд чести*, *долг чести*, *честъ воина* и т.п.). В качестве внешнего выражения военно-профессиональной солидарности в рыцарской среде зародился и ритуал отдания воинской чести, до сих пор существующий во всех армиях [2. Т. 8. С. 401].

Понятие воинской чести, послужившее основой формирования идеалов западноевропейской рыцарской культуры, проходило свое становление в XI–XII веках. Древнерусское понятие «честъ» влияния рыцарской культуры не испытало, поскольку в XIII веке волна распространения рыцарства останавливается встречным движением кочевников, занявших территории Древней Руси.

П.С. Стефанович, исследовавший употребление слова *честь* в памятниках литературы домонгольской Руси [3. С. 71–74], приходит к выводу, что в абсолютном большинстве случаев древнерусское *честь* используется для передачи понятия “почет, уважение, социальное или моральное достоинство” и лишь однажды, в Ипатьевской летописи — “честь воина в чистом виде” (1251 г.): “нашими бо головами сдержати честь свою” [3. С. 83]. Эти слова принадлежат представителю племени ятвягов, испытавших на себе влияние рыцарской культуры, поскольку их земли были частично завоеваны тевтонцами (1238 г.). Таким образом, новое западноевропейское понятие морально-этического долга присутствует в русской летописи почти случайно.

Древнерусское *честь* получило свое дальнейшее развитие, исходя из значений только первоначального уровня, характеризующих в основном различные способы оказания “уважения” и “почтения”. Сочетание существительного *честь* с глаголом *иметь* в древнерусском языке не было фразеологизмом, а являлось одной из многих свободных комбинаций слова *честь* с различными глаголами: *взять, принимать, приумножать, воздавать* и т.д. и служило для характеристики различных способов оказания уважения: “Аште от всех хоштеши чьсть имети, буди всем благодетель обьшт<и>” (Изборник, 1076 г.).

Глагол *иметь* в русском языке впоследствии проиграл в конкуренции с выражением *у меня есть* и не получил такого широкого распространения, какое в западноевропейских языках имеют его эквиваленты (*avoir, haben, have* и т.п.). Но в некоторых случаях, например, для придания высказыванию оттенка “пользоваться” употребление глагола *иметь* в русском языке предпочтительнее оборота *у меня есть*: “имею успех, уважение, влияние, доход, воспитание, сочувствие” и т.п.

В подобном контексте *имею честь* интерпретируется как “удостаиваюсь”, то есть “пользуюсь предоставленной мне почетной возможностью”, где слово *честь* обозначает первоначальный уровень значений “почет” и “уважение”. Эта довольно распространенная интерпретация выражения *честь имею* (*кланяться*) зафиксирована, например, в “Словаре современного русского литературного языка” (М., 1965).

Следующий уровень значений слова *честь* — “воинская честь” и “заслуга” возникают в России в конце XVII века, этот процесс был связан с образованием регулярной русской армии и вместе с тем с формированием восприятия чести как неотъемлемой сущности дворянского сословия. Выражение *иметь честь* в данном контексте приобретает новый, или отчасти дополнительный, по отношению к изначальному, смысл: признание говорящим собственного внутреннего достоинства.

Окончательное соединение двух понятий “служба” и “честь” принадлежало Петру I (1682–1725). Завет Петра I “в службе — честь” был заложен в основу всех воинских законов и уставов, всей системы обучения в армии тех лет. Лишение чести автоматически означало отставку

из армии и являлось наказанием за проступки. В Петровском “Артикуле воинском” (1716) специально разъяснялось значение этого наказания: “Чести лишен, шельмован [то есть из числа добрых людей и верных извергнут]” [4. С. 92]. Ритуал отдания воинской чести, во избежание двусмысленности истолкования, назывался в Петровских “Экзерцициях” – *комплимент отдавать*, “отдавали комплимент” – *снем шляпу* с поклоном [4. С. 125].

Употребление формулы “*иметь честь* делать что-л.”, содержащей понятие *честь* первоначального уровня значений (“почет, уважение”), является, по всей видимости, французской традицией вежливого обращения и встречается, например, в переводе В. Тредиаковского французского романа П. Тальмана “Езда на остров любви” (1712): “Я желаю иметь честь ея под руку вестъ” и “Я имел честь объявить вам в первом моем письме...”.

В речи мужчин, представителей русского дворянства, обязанного нести военную либо государственную службу, выражения *иметь честь*, а также *почту за честь*; *имею честь сообщить* и т.п. звучат уже не только как вежливая формула, но и как сигнал о принадлежности к определенному сословию. Д.И. Фонвизин, состоявший секретарем Коллегии иностранных дел, в “Письмах из Франции” (1777–1778) очень активно пользовался различными вариантами выражения *иметь честь* в сочетании с глаголами: *получить, описывать, приложить, писать, быть*: “Я имел честь вашему сиятельству описывать частию причины оному в прежних моих письмах”; “...и повторяю всегдашние мои уверения о глубочайшем почтении и совершенной преданности, с которыми навсегда имею честь быть...”.

В пьесе “Недоросль” (1781), замысел которой сложился после возвращения Д.И. Фонвизина из Франции, выражение *иметь честь* появляется в репликах Правдина: “Мы оба [с Милоном] эту честь иметь будем [кушать]” и “[Стародуму]: Так я здесь и буду иметь честь вас видеть”. В “Письмах русского путешественника” (1789–1790) Н.М. Карамзина выражение *иметь честь* встречается как в заключительных фразах писем, написанных по-французски: “*j’ai l’honneur d’être*” (“имею честь быть”), так и в русских пересказах писем жителей Швейцарии: “она не имеет сей чести”; “я имела честь ужинать с ним в Базеле” и т.п., где выступает в качестве простой формулы вежливого обращения.

В конце XVIII века с началом эпохи романтизма восприятие *чеести* как совокупности морально-этических принципов личности становится особенно актуальным. Романтизация рыцарской культуры, представители которой в XI веке составили новый социальный слой дворянства, способствует росту популярности выражения *честь имею (кланяться)* в европейских аристократических кругах. Формула *честь имею* приобретает дополнительное значение, демонстрирующее не только европейскую вежливость, но и принадлежность к определенному сословию.

В офицерской среде вырабатывается традиция при обращении к старшему начальнику говорить – *имею честь представиться!*, а при прощании – *честь имею!* Использование подобных формул приветствия имело изначально характер рекомендации [2. Т. 2. С. 232], не закрепленной никакими уставами. Появление этой традиции связано, вероятнее всего, с деятельностью Павла I, который возродил профессиональную армию (новый, взамен петровских, набор воинских уставов всех родов войск того времени – кавалерийский, гусарский, пехотный, морской; 1797) и явился хранителем западноевропейской рыцарской культуры (взял на себя управление Мальтийским рыцарским орденом, 1798).

Впоследствии *имею честь представиться* получило распространение и среди чиновников, носящих мундир и шпагу. По этой форме, например, обращаются к Хлестакову: “Имею честь представиться: попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника”.

Право на честь изначально признавалось только между равными. Считавшаяся исключительной принадлежностью дворянства, в особенности офицерства, это право в конце XIX – начале XX века распространилось и на купечество. К представителям купеческого сословия, не имевшим официальных титулов, начинают обращаться с произвольным *ваша честь*.

С течением времени употребление выражения *имею честь* перестает свидетельствовать о наличии чести у произносящего, достаточным условием становится наличие чести у того, кому эта формула адресовалась [5. С. 498]. Этой формулой для общения с уважаемыми и образованными людьми начинают пользоваться разные слои населения. (1879): “[Денис солдат, “гвардеец”]: Имею честь поздравить с праздником! Живой рыбки принес, налим отборный, подлещики, ерши, пескарь, ельцы...Прикажете на кухню?”; “[Трифоныч лавочник]: Имею честь поздравить с высокорадостным днем Благовещения... и сунет в руку коробочку” (Шмелев. Лето Господне).

В начале XX века происходит, своего рода, возврат к первоначальному уровню значений слова *честь* (“почет, уважение”), при котором *иметь честь* связано с “удостаиваться”, с одной стороны. С другой стороны, право на честь, как обладание морально-этическими принципами, теряет прежние границы сословности и перестает признаваться за чинами полиции и чиновниками в виду массового казнокрадства и взяточничества. Исправника или мелкого чиновника богатый помещик мог принять в дверях, и тот стоя выпивал рюмку водки или чашку чая: “На Новый год является “поздравить” сам городской. Он стучает каблуками и говорит: Честь имею... Ему выносят на блюде рюмку водки и серебряный рубль. Городовой берет целковый, благодарствует и пьет за наше здоровье...Затем он опять щелкает каблуками и прикладывает руку к козырьку... – Это он отдает нам честь, – поясняю я. – Помнишь,

когда он вошел сначала, он сказал: “Имею честь”? А теперь он ее отдаст нам. – Папа, – кричит Оська, – а нам тут полицейский честь отдал за рубль! – Переплатили, переплатили! – хохочет отец. – Полицейская честь и пятака не стоит” (Кассиль. Кондуит и Швамбрания).

На основе *имею честь*... сформировался целый ряд канцеляризмов, использовавшихся в официальных рапортах и заявлениях: *имею честь донести* или *доложить*, *сообщить*, а также *имею честь покорнейше просить*; *имею честь предложить* и т.п. Русские эмигранты, жены офицеров белой армии, высадившиеся в Варненском порту в марте 1920 года без денег и документов, обращались в “Русско-болгарский комитет помощи беженцам” по следующей форме: “Честь имею просить Комитет о выдаче мне одного одеяла” [6].

Обращение к властям, оказание уважения и даже отдавание воинской чести и т.п. традиционно связывалось в русской культуре с поклоном, в подобном контексте, оборот *честь имею*, занявший в сознании обывателя место некогда популярного *бить челом*, начинает оформляться соответствующим жестом. Поклоном сопровождались такие выражения, как, *честь имею поздравить* или *честь имею быть Вашим покорным слугой*: “[Платонов]: Честь имею... (Кланяется). Совет да любви!” (Чехов. Безотцовщина); “Тут-то и приступили господа офицеры к поручику Тихменю. Одним разом, по команде, все низко поклонились: – Честь вас имеем, папаша, проздравить с новорожденным, с Петяшкой, на чаек с вашей милости...” (Замятин. На куличках).

Формула *честь имею кланяться*, соединившая в себе и достоинство офицерского прощания *честь имею!*, и проявление уважения, и традиционное обозначение поклона, задержалась в речевом этикете дольше всех в силу своей многозначности и универсальности: “[Трилецкий, полковник в отставке:] Честь имею кланяться! (Кланяется). До приятного свидания” (Чехов. Безотцовщина).

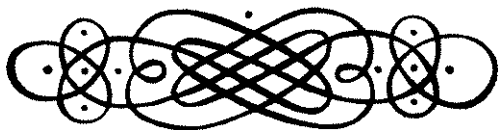
В 20-е годы XX века *честь имею кланяться*, став аббревиатурой (ЧИК), превращается в модное приветствие: «Помню как добродушно смеялся поэт [А. Блок], когда М. Лозинский, прощаясь с ним, сказал ему с величайшей серьезностью: ЧИК! – и пояснил, что по-новому это означает “Честь имею кланяться”» (Чуковский. Живой как жизнь).

В настоящее время приветствие *честь имею!*, сохранившее в себе оттенок светской вежливости и военного этикета, вышло из повседневного употребления и используется крайне редко. «О, проклятье! – взвизгнул гость и попятился к двери. – Мое почтенье дражайшей Ирине Николаевне. Честь имею. Пардон. – А еще надобно добавить: “Покорнейше благодарю”. Пижон. Не люблю пижонов» (Пак. Танец белой курицы).

Литература

1. Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). Под ред. Р.М. Цейтлин и др. М., 1999.
2. Военная энциклопедия. В 8 т. М., 2004.
3. *Стефанович П.С.* Древнерусское понятие “честь” по памятникам литературы домонгольской Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2004. № 2.
4. Артикул воинский с кратким толкованием и с процессами напечатася повелением ея императорскаго величества. СПб., 1780.
5. *Беловинский Л.В.* Российский историко-бытовой словарь. М., 1999.
6. *Димитров Э.И.* Литературоведение “на пороге” (Русская эмиграция в Варне). <http://internet.ida.bg>.





“Любящий Вас Срезневский”

ИЗ ПЕРЕПИСКИ И.И. СРЕЗНЕВСКОГО С В.Г. КАТИНСКИМ

Измаил Иванович Срезневский — выдающийся отечественный ученый, первый в России доктор славяно-русской филологии, исключительный знаток древнерусской письменности, путешественник, археолог, палеограф, этнограф, лексикограф... Он был избран почетным академиком всех духовных академий России и тридцати двух европейских академий и обществ. Факты его научной биографии хорошо известны. Но открытые нами новые архивные материалы проливают свет на те события и лица, которые не получили освещения у биографов И.И. Срезневского.

По своему завещанию он был похоронен в селе Срезнево Спасского уезда Рязанской губернии, которое впервые упоминается в XVI веке [1]. Из этих мест вышли его предки — род священников, проповедников, профессоров первых российских университетов. Своей известностью они обязаны прежде всего Ивану (“сыну Евсея из села Срезнево”), получившему фамилию *Срезневский* после окончания Рязанской духовной семинарии в 1791 году [2]. Иван Евсеевич навсегда покинул свое родовое село и после блестящего окончания Московского университета [3] стал известным профессором российского красноречия и древних языков в Ярославле, затем в Харькове. Но любовь к родному краю он сохранил до конца жизни и сумел передать ее старшему сыну Измаилу.

Измаил Иванович имел широкий круг общения и большую дружную семью. Он очень сожалел, что насыщенная общественная работа и преподавательская деятельность долгое время не позволяли ему посетить Срезнево. И только в последние годы жизни его мечта о встрече с родными местами своих предков осуществилась.

В августе 1877 года, возвращаясь из Казани, он на пароходе по Оке с двумя сыновьями приплыл в родовое село в тихом уголке Рязанщины. Встреча с родными местами и родственниками стала радостным событием в жизни ученого, душевно согревавшим его в последние годы земного бытия (скончался И.И. Срезневский в 1880 году в Петербурге).

Впервые публикуемые послания, написанные им Василию Григорьевичу Катинскому, последнему из рода священнослужителей Покровской церкви села Срезнева, прослеживают родственную духовную связь не-

скольких поколений Срезневских. Василий Григорьевич был племянником Измаила Ивановича, сыном его двоюродной сестры Марии (по мужу Катинской) [4], отец которой Иоаким Евсеевич состоял управляющим Покровской церкви [5].

Эта переписка с иной, "домашней стороны", представляет нам крупного ученого, путешественника и незаурядного человека, истинного гражданина, заботливого и простого в родственной дружбе, любящего, счастливого в своей большой семье. На страницах писем воссоздан облик человека с его разнообразными интересами, научными планами, мечтами. Перед нами встает фигура не кабинетного ученого, далекого от реальной жизни и быта, а умелого практика, знающего толк во многих житейских делах: заботливый и умудренный опытом советчик обнаруживает весьма успешные знания и в фармакологии, и в архитектуре, и в строительстве. С этой точки зрения академик И.И. Срезневский еще не представал перед современным читателем, имеющим подчас "стандартное", книжное представление о филологах того времени.

Письма рассказывают, как И.И. Срезневский, отец большого семейства, дорожил своими детьми, независимо от их возраста и способностей, какие духовные ориентиры он проповедовал, какая чистая, полная любви и человеческого обаяния атмосфера царила в его ближнем круге. Очень важно, что в этих письмах И.И. Срезневский показан прежде всего как прекрасный педагог, умеющий подметить и оценить успехи каждого и радоваться им. Несмотря на грустный тон некоторых писем, связанный с нездоровьем их автора, ценность публикуемой мемуарной литературы исключительная: кроме ряда лингвистических проблем, возникающих за строками Срезневского-ученого, в этой переписке ощущается дыхание высокого духа родственных связей, дружественности и искренней любви, почитания семейных начал и верность своим корням. Все это делает письма ученого своего рода образцом педагогического и риторического мастерства и просто книгой для "душевнополезного чтения" нынешним и будущим поколениям филологов.

1. И.И. Срезневский – В.Г. Катинскому [6]

*[Ижора, под Санкт-Петербургом]
3 сентября 1877.*

Душевно уважаемый о. Василий Григорьевич!

Вот уже четвертый день, как я и оба мои спутника воротились домой (на дачу в Ижору, за 18 верст за Петербургом), вчера только успели съездить в город, чтобы между прочим исполнить одно из желаний наших в отношении к Срезневу, и только сегодня улучил минутку, чтобы

хоть немногими словами известить Вас о себе и выразить Вам и всем Вашим нашу общую сердечную признательность за дружеский родственный прием меня с сыновьями в дорогом для меня уголке Срезнева.

Простившись с Вами, мы провели отрезок ночи и утро на пароходе очень покойно; не так покойно, но по счастью безо всяких приключений переехали в Рязань, с пристани в город по отвратительной грязи; в тот же день переехали в Москву, в ней переночевали и провели день; на третью ночь по выезде из Срезнева поехали в Петербург, и около 1/2 2-го по полудни были уже у себя дома.

Радость нашей семейной встречи понятна Вашему доброму сердцу. Только уже на третий день после приезда мы с женой поехали в город для свидания с сыном Владимиром и его семьей и для исполнения одного из желаний наших в отношении к Вам. Вчера же должна быть готова к отправке, а сегодня и отправлена посылка гомеопатической аптечки с лечебником на имя Любови Семеновны [7] в Рязань. Нам хотелось, чтобы эту посылку Вы получили скорее и не придумали другого лучшего средства, надеясь, что ей все-таки легче отыскать случай, чтобы посылка наша дошла до Вас верно и скоро. Я написал ей письмо, и очень радуюсь, что смогу сегодня написать и Вам.

Прежде всего – прошу Вас принять от всех нас за себя, за Ольгу Семеновну [8], за матушку [9] и ее милых внучат наш родственный поцелуй и благодарность за радушный прием меня с детьми в дорогом для нас уголке. Не могу не вспоминать и не рассказывать о заботливости Вашей о моей хилости и нездоровье Всеволода [10] (слава Богу, оставшемся, кажется, без дурных последствий) без теплого чувства. Все, все надолго будет памятно всем нам.

И святость места для сердца моего, как родины предков, отца и дядей, и родственное влечение к вашему милому семейству, все тянет меня к Срезневу. Так бы и поехал опять к вам, со всеми своими, если бы как-нибудь можно было облегчить переезд из Рязани в Срезнево. Наиболее удобен, мне кажется, он может быть в тарантасе на долгих или на почтовых прямо из Рязани без посредства парохода. Очень жалко, что мне не пришлось поговорить об этом в Рязани с кем-нибудь из людей опытных.

Еще раз целую всех вас за всех нас и желаю всем вам здоровья и душевного довольства. Письмо ваше к нам пишите на Императорскую Академию Наук.

Не забывайте – преданный и любящий *Измаил Срезневский*.

[11] Ваши два поручения: о книге по лесоводству и планы военных действий я еще не исполнил, потому что еще не знаю ничего подходящего. Завтра буду в городе и постараюсь исполнить. Целую Вас и всех ваших.

Борис Срезневский [12].

Всеволод кланяется Вам; он почти здоров, немного только покашливает, но на это не обращает никакого внимания, бегают по саду и резвятся.

Примите и от меня благодарность за ласку и внимание ко всем нам. Целую Вашу жену и деток, а также и матушку. Какие вкусные пироги привезли нам от Вас.

Е. Срезневская [13].

2. И.И. Срезневский – В.Г. Катинскому

[г. Санкт-Петербург]

23 мая 1878 г.

[...] [14] не подумайте, что мы все это время и до того ранее не поминали Вас: с признательностью и любовью и всем семейством и вдвоем с женою вспоминали мы и вспоминаем всех вас. Зимой и ранней осенью по вечерам мы читали письма, которые писались мною и Борей с дороги с разными объяснениями нашей стороны, и, разумеется, всего подробнее припомнано было все, что мы пережили в поездку нашу в Срезнево. Припоминаемо было многое и потом премногое по мелочам. Нелишним сказать будет, что жена моя, несравненная Катенька, любящая все, что близко моему сердцу или должно быть близко, любит всех вас, как своих близких родных, и к самому Срезневу питает сочувствие. Покойный Миша [15], кажется, сам рассказывал, какою она была с ним. Не могла она не порадоваться и нашему прошлогоднему решению заехать в Рязань, а следовательно, и в Срезнево. Теперь она желала бы сама побывать в Срезневе, чтобы помолиться на могиле деда с мужем и детьми с тем же благоговением, с каким ежегодно разными обстоятельствами, вот уже слишком 20 лет, молится на могиле матери моей, о которой одна и заботится. И мы собираемся к Вам вместе с нею и с одной из дочерей, с младшею, Верой [16]. Почему именно с Верой, это нельзя оставить без объяснения. Нынешней зимою принялся писать, припомнилось, что и Всеволод, как он ни мал еще, а уже много пообъездил, многое видел, видел и то, что не видел никто кроме Бори. Все другие так же много видели, и только Вера, после того как ребенком была в Москве, оставалась все дома, и не видела ничего кроме Петербурга и окрестностей. Всем нам стало ясно, что если кому ехать с папой и мамой теперь, так именно ей. Но ехать только в Рязанское Срезнево, это мало. Вот я и придумал, что ехать можно через Москву, из Троицы в Ростов, Ярославль, Нижний и оттуда уже в Спасск и в Срезнево, а потом в Рязань и домой, или же начать Рязанью и Срезневым и кончить Москвой. При том мне бы хотелось хоть сутки остаться в Старой Рязани [17], далее в Срезневе провести хоть два дня. Последнее обстоятельство самое тяжелое. Не могу покойно вспомнить, как мы тогда вас стеснили, и не желал бы стеснить в другой раз. Думая об этом, я придумал, нельзя ли бы нанять на время нашего приезда избу у поселянина, ваше-

го соседа, чтобы мы могли ночевать? С Вашею помощью мы могли бы порядочно устроиться на короткий срок нашей побывки, и хотя бы чувствовали, что в этом вам обязаны и все-таки были бы в душе покойны. Для Веры это было бы даже не без пользы.

Все-таки сегодня не окончу письма: скоро полночь. Постараюсь дописать завтра. Спите спокойно.

3. И.И. Срезневский – В.Г. Катинскому

24 [мая 1877 г.] перед вечером.

Пользуюсь часом уединенной свободы, чтобы продолжить письмо мое еще хоть немного, и, прежде всего, напишу, что это за час уединенной свободы.

Прежде всего, скажу, что до сегодня мы были разделены на две половины: три дочери, Всеволод и жена сына Вячеслава [18] с малютками своими были на даче; а я с женой, Олей [19] и Борей здесь. Дача предназначалась для летнего жилья; а мне по службе и некоторым делам ученым надобно было оставаться здесь, и меня на лето оставили одного. Вяча [так в тексте. – Н.К.] навещает часто, а Володя [20] отправил жену и мамочку в деревню к отцу жены, оставался у нас больше недели. Сегодня приехали и дачники наши к нам – к завтрашнему дню. И вот теперь они отправились все в баню. Я остался почти один и сел за письмо.

Хотелось бы послать Вам лекарство, но Вы не написали, какие у Вас вышли, и какие нужны. Куплена только арника, но и отсылать одну арнику не стоит. Сделайте объяснение, уведомьте поскорее, что именно прислать. Есть для Вас мятное масло (из которого со спиртом всегда можно собрать мятные капли). Есть ли валериановые капли, которыми я угощал Вас, мать, что лечится из своего карманного пузырька (это приятное средство против расстройства желудка)? Не прислать ли кассии против лихорадки – вместо хинины (которая часто подделывается вследствие истребления хининских деревьев)? Сам я лечусь от лихорадки только кассией. Может быть, и еще что нужно, напишите, чтобы заодно снарядить. И, разумеется, посылать лучше не жидкое.

Уведомьте, пожалуйста.

4. И.И. Срезневский – В.Г. Катинскому

25-е [мая 1877 г.] вечер.

Сегодня для всей семьи нашей и особенно для сына Вячеслава был великий день, день публичного диспута на степень магистра славянской

филологии. За четыре года перед этим он выдержал испытания на эту степень и тогда же представил значительную часть своей диссертации, скоро после того одобренной. Начав печатать ее, он исправлял, дополнял и вообще изменял ее, должно было немало хлопотать и с типографиями, в которых печатался. Все это вместе при необходимости приобретать деньги трудом и для поддержания своей семьи, и для издания книги, было причиною, что диссертация так долго не доходила до желанного конца. Наконец она вышла книгой в 25 печатных листов под названием "Древний славянский перевод Псалтыри – исследование текста и языка по рукописям XI–XIV вв." [21]. Была она вторично разобрана, отобрана и сделалась сегодня предметом диспута. Оппонентами были: профессор славянской филологии В.И. Ламанский, профессор греческой филологии Г.С. Дестунис и профессор еврейской филологии Х.А. Хвольсон [22]. Я бы и желал быть тоже оппонентом и был бы хвалителем труда, если бы не был отцом; а как отцу мне пришлось быть молчаливым слушателем, занимая только место председателя, как декан факультета. На диспуте были такими же слушателями все мы семьей, не исключая Всеволода, некоторых из родных наших и из близких. Диспут продолжался три часа – и кончился благополучно. Многие поздравляли и меня и всех нас, и потому по-отцовски было бесконечно мне приятно. Затем вся семья и некоторые родные собрались к нам обедать, приветствовать диспут (11-ть внуков), мы остались одни и могли без фальши почувствовать это.

На этом я и окончу письмо свое. Поцелуйтесь за меня с Ольгой Семеновной и их девочками, и все поцелуйте за меня добрую бабушку. Говоря: за меня, и, разумеется, всех нас, вас любящих.

Чего не написал, напишу в другом письме.

Любящий Вас *И. Срезневский*.

5. И.И. Срезневский – В.Г. Катинскому

23 июня 1878 г.

Ижора у Парголова.

Сердечно, милые Василий Григорьевич, Ольга Семеновна
с матушкой и с внуками!

Уже несколько недель мы собираемся в путь, и все еще не собрались. Думали было успеть быть у Вас до 20; но это оказалось совершенно невозможным: 17-го день мы оставили, к которому должны были собраться все трое с некоторыми из близких знакомых и родных; и это в самом деле сбылось; 18-го еще оставались двое – Володя со своей Наденькой и Вяча с Ольгошей; 19-го должно быть обустройство: переставить коробки в закутках для дороги. Если бы и пособить, то мы бы мог-

ли 20-го рано выдвинуться так, чтобы в Рязани были бы 21, а там надо хлопотать о тарантасе.

Ко всему этому прибавилось еще и то, что я должен в Москве поработать, или ехавши через нее домой, или возвращаясь, в Музей, и быть там тогда, когда музейные рукописи будут доступны, а для этого знать, когда хранитель рукописей музея может меня принять. Надобно было с ним списаться, и вот я написал и жду ответа.

Во всяком случае мы должны постараться приехать к Вам так, чтобы провести с Вами воскресенье, как день свободный от работы. Не ко времени гость хуже татарина; но мы постараемся поехать с внучками, а Вера хочет и попробовать силенки свои сгребать сено, если оно еще не будет убрано.

Лекарства почти все куплены и даже уложены в ящичек, мною самим склеенный. Остается не забыть купить кассии (против лихорадки), бальзаму для заживления порезов и еще чего-то, что вам нужно, не могу вспомнить. Против расстройства желудка должны быть у Вас (мы привезем и еще) капли валерианы, я купил. Против ушибов без поранений нужен порошок из арника (микстуры) в большом пузырьке (мы еще привезем), разводить в воде (на чашку капель 20).

Вы пишете, что погода у вас прекрасная. Не то мы должны сказать. Было правда и жарко; но бывает и очень холодно, что мы протапливаем. И ветрено, и холодно особенно здесь на даче. Хотя домик наш выстроен порядочно, но все равно продувает. А мне, скажу, еще и нездоровится.

Сборы наши продолжаются: надобно взять с собой всего как можно меньше, а потому и шить, что одно могло бы заменить многое; не надо и забыть ничего нужного... Вместе с тем мне надобно покончить кое-какие работы. Работаю сейчас и я, и три мои дочери подключаются. Все мы и целуем всех вас.

Любящий Вас Срезневский.

[...] [23] Посылаю кусочек вида с балкона нашей городской квартиры: набережная, Невка с пароходами; другой берег с Английской набережной и церковью Благовещенья, выглядывающей из-за домов. [24]

6. И.И. Срезневский – В.Г. Катинскому

[Москва]
6 июля 1878 г.

Душевно уважаемый Василий Григорьевич!

Мы уже в Москве – со вчерашнего дня, и пробудем здесь, впрочем, около недели – так что в конце той недели, если не случится ничего особенного, увидимся с Вами. Нас четверо: я с женой и две сестрички – Лю-

ля и Вера. Вера как главная путешественница, Люля как хозяйка. В Рязани мы остановимся, чтобы ознакомиться с городом, пойдем, разумеется, в монастырь, может быть, и не один раз. Хотелось бы съездить в Солотчинский монастырь [25], где я в прошлом году не был. <...> [26] Передайте наши поцелуи всем Вашим.

Ваш *И. Срезневский*.

7. И.И. Срезневский – В.Г. Катинскому

Москва.

Августа 5. [1878 г.]

Душевно уважаемый Василий Григорьевич!

Наконец-то мы опять в Москве (с вчерашнего вечера) и собираемся домой. Все наше странствие совершилось благополучно. По Оке мы прибыли в Нижний, паромом только, что, взяв билеты до Нижнего, не могли остановиться в Павловске и осмотреть там железное производство. В Нижнем не раз были на раскрывавшейся ярмарке, еще чаще любовались слиянием Оки с Волгой, которого широкий разлив был перед нашими окнами. Не раз были мы и у знаменитого фотографа Карелина [27], не говоря уже о многом другом. Из Нижнего поехали к Владимиру и, не доезжая 10 верст, остановились в Боголюбове, а потом 2 дня провели во Владимире, долго могли видеть все более замечательное, между прочим, и Дмитриевский собор. Из Владимира обратно мы повернули на Шуйскую дорогу и на сутки остановились в селе Иваново, знаменитом своими прядильными и ткацкими фабриками и очень подробно рассмотрели одну из них, двойную, самую огромную. Путь наш далее был на Кинешму, где мы пересели на пароход и на нем поехали и приехали в Кострому так долго, что пообедавши успели побывать и в Ипатьевском монастыре, и поездили по городу, а на другое утро искали и нашли производителя особо крашеной и чистой <...> [28] и взяли несколько мелочей для образца. Кстати вспомнить, что в Нижнем мы приобрели одну из мелочей: хорошенький бурак для сохранения варенья, которое взять с собой непременно потребовала от нас Пашенька [29]. В другой день, спавши опять на пароходе, к вечеру мы были в Ярославле – так что в тот же вечер погуляли по великолепному бульвару, тянущемуся по верху прекрасного города над Волгой. Из мест, осмотренных нами в Ярославле, самое важное было лицей, Высших наук училище, где мой дед до 1812 года был профессором и инспектором и где я родился... Оставивши в Ярославле все необходимое, мы поехали за Волгу, сели в один из маленьких вагончиков узкоколейной рельсной дороги и вскачь, а иногда и рысью понеслись в Вологду: 192 версты мы ехали 11 часов, целый день, почти до ночи, и только уже на следующий день могли осматривать город. Один только день и две ночи (только по

необходимости) остались мы в Вологде, устав, однако, бродить и по случаю купили баночку варенья каленики и для нее бурачок, а для их сохранения купили в Костроме – лукошко, посудину, о которой прежде мы не имели никакого понятия. Возвратясь опять в Ярославль, я посетил архиерея, осмотрел древние рукописи архиерейского дома и пр. Выехавши поздним вечером на ночь, мы приехали в Ростов и следующий день провели прекрасно и удачно в осмотре города и храмов, выслушали знаменитого колокольного звона и пр., а потом этим же вечером или лучше сказать ночью поехали в Троице Сергиевскую Лавру, куда прибыли в 6 ¹/₂ утра. Одного дня было достаточно, чтобы полюбоваться и осмотреть все более важное, и съездить к викарию и в скит, а мне и видется кое с кем. На другой день мы оставались в Лавре еще полдня, и вчера к обеду успели в Москву, в то самое помещение, какое занимали до отъезда в Рязань и к Вам. И вчера еще и сегодня Вера с мамашей продолжали осмотр Московских достопамятностей, и завтра несколько часов посвятится на это. Завтра же мы хотим и выехать домой. Там нас ждут не дождутся; да и нам хочется скорее быть вместе. Я было думал остаться здесь по крайней мере на неделю для занятий; но даже не нахожу сил в себе на это, да и частные обстоятельства людей, без которых занятия не состоятся, мешают этому. Таким образом, наше путешествие оканчивается.

Оканчивается и мой очерк Вам о нем. Прибавлю к нему, что мы часто вспоминали и всех вас и о Срезневе и об Оке, как она у вас течет. Поцелуйте за нас бабушку, мамашу, деток, поклонитесь всем нас помнящим, и верьте в нашу родственную дружбу к Вам.

Я также от всей души благодарю Вас за Ваш родственный и ласковый прием, за Ваше попечение о нас. Мы с большим удовольствием и вкусом ели хлеб, который нам дали на дорогу – чудесный был. Сколько раз мы вспоминали вас, я дорогой все высматривал хорошенький домик и придумывал фасад для Вашего. Целую всех вас от мала до велика. До свидания. <...>

8. И.И. Срезневский – В.Г. Катинскому

Петербург.

4 сентября 1878 г.

Начинаю с отчета о книгах, и, прежде всего о той, которая приманила Вас к себе своим заглавием “Практическая архитектура городских, загородных и сельских зданий” и пр. подобных собраний жемчужин с заметками. Книга форматом большая и красиво изданная: 42 листа картинок и чертежей и 95 страниц в два столбца пояснений. Переглядывать ее приятно; но для многих и может больше для забавы – вероятно, кажется, и для тех, которые не хотят или не умеют беречь деньги. Пе-

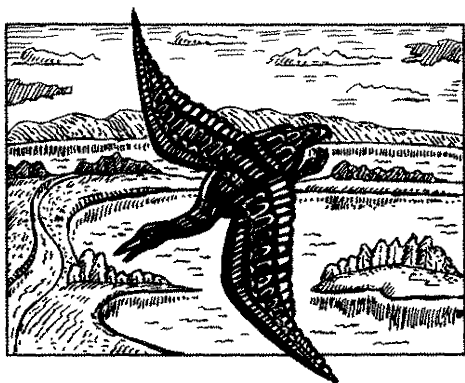
реглядывать внимательно в те места, имеется в виду Вам, я остановился только на листе 24: "Сельский дом на каменном фундаменте — одноэтажный с антресолями". Передний фасад в 3 окна; над средним окном балкончик, из-за решетки которого видна дверь; еще выше угол двускатной крыши; с правой стороны виден бочок крылечка с двускатной крышей; с правой видна высокая труба. Это рисунок. План, тут же приложенный, не подводит их ни к положению трубы, ни к крыше, ни к названию "одноэтажный с антресолями". <...> [30]

Примечания

1. Сотная грамота 1567 года // Писцовые книги Рязанского края XV–XVII вв. Рязань, 1900. Т. 1. Вып. 2. С. 446.
2. Аттестат, выданный ректором Рязанской семинарии И.Е. Срезневскому. РГАЛИ. Ф. 436. Оп. 2. Ед. хр. 216. Л. 1.
3. Аттестат об окончании с серебряной медалью Московского университета И.Е. Срезневского. РГАЛИ. Ф. 436. Оп. 1. Ед. хр. 217. Л. 1.
4. Родословная Срезневских из села Срезнево. Архив Академии наук СССР. Ф. 436. Оп. 1. Ед. хр. 9448. Л. 1.
5. *Добролюбов И.В.* Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных, со списками их настоятелей за XVII, XVIII и XIX столетия и библиографическими указателями. Рязань, 1891. Т. 4. С. 335–336.
6. Письма И.И. Срезневского В.Г. Катинскому публикуются впервые по источнику: РГАЛИ. Ф. 436. Оп. 1. Ед. хр. 1050. [24 лл.]. 3 сент. 1877 г. – 8 мая 1879 г.
7. Сестра жены В.Г. Катинского, проживавшая в Рязани.
8. Жена В.Г. Катинского, проживавшая в Срезневе.
9. Теща В.Г. Катинского.
10. Младший сын И.И. Срезневского (1867–1936), историк литературы, археограф, палеограф, библиограф, чл.-корр. АН СССР (подробнее о нем: Императорская Публичная библиотека 1795–1917. СПб., 1995).
11. Приписка Бориса Срезневского.
12. *Борис Измайлович*, средний сын И.И. Срезневского (1857–1934), известный метеоролог, профессор Юрьевского университета, декан физико-математического факультета (подробнее о нем: Энциклопедический словарь. СПб., Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон, 1890–1907. Т. XXXI. С. 354).
13. Приписка жены. *Екатерина Федоровна Срезневская* (в девичестве Тюрина) (1825–1912). См.: Свидетельство о браке (1844). Копия 1880 г. РГАЛИ. Ф. 436. Оп. 2. Ед. хр. 302.
14. Пропущен текст письма на л. 15.

15. Двоюродный брат И.И. Срезневского, проживавший в Срезневе.
16. *Вера Измайловна*, младшая дочь И.И. Срезневского (1861–1935).
17. Место бывшей столицы Рязанского княжества. Расположено в 20 км от Срезнева.
18. *Вячеслав Измайлович* (1849–1920) – второй сын И.И. Срезневского, филолог-славист (подробнее о нем: Брокгауз – Ефрон. Там же).
19. *Ольга Измайловна* (1845–1930) – старшая дочь И.И. Срезневского, писательница, изд. “Материалов для словаря древнерусского языка” (подробнее об этом: Брокгауз – Ефрон. Там же).
20. *Владимир Измайлович* (1848–1920), старший сын И.И. Срезневского, преподаватель русской словесности, известный статист (подробнее о нем: Брокгауз – Ефрон. Там же).
21. Диссертация на степень магистра Славянской филологии была защищена В.И. Срезневским на историко-филологическом факультете СПб. университета в 1877.
22. Профессора историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета.
23. Пропущено три строчки текста письма на л. 16.
24. И.И. Срезневский снимал квартиру в 1878–1879 гг. по адресу: Васильевский остров, 1 линия, дом 38. См.: *Никитенко Г.Ю., Соболев В.Д.* Энциклопедия улиц. Василеостровский район. СПб., 2002. С. 166.
25. Солотчинский Рождества Богородицы мужской монастырь, основан в 1390 г. великой княгиней Ольгой Ивановной Рязанской, находится в 20 км от Рязани. См.: *Коновалов Д.А.* Солотчинские были. М., 1971.
26. Пропущено три строки текста письма на стр. 18.
27. *Андрей Осипович Карелин* (1857–1906), известный нижегородский фотохудожник, в 1869 году открыл свое фотоателье (о нем подробнее: Российский гуманитарный энциклопедический словарь. М., 2000. Т. 2. С. 153–154). И.И. Срезневский привез коллекцию фотографий. РГАЛИ. Ф. 436. Оп. 1. Ед. хр. 1942. Лл. 1–4.
28. Пропущено одно слово, написано неразборчиво.
29. Племянница И.И. Срезневского.
30. Далее пропущен текст письма (рассуждения о книгах по архитектуре). В этом же письме помещен чертеж рукой И.И. Срезневского: два плана построения дома на каменном фундаменте.

Публикация © *Н.В. Колгушкиной*,
 директора Музея академика *И.И. Срезневского*
 при Рязанском государственном университете
 имени *С.А. Есенина*



Гидронимы в Смоленском крае

© П. П. АЛЬДИНГЕР

Гидронимы позволяют исследователям обнаружить следы существования на той или иной территории давно исчезнувших языков и выявить важнейшие эпизоды истории древних взаимоотношений языков и этносов [1]. Обратимся только к одному региону – Смоленской области. Эта территория принадлежит к числу древнейших обитаемых земель, которые заселяли кривичи, жившие в верховьях Днепра, Западной Двины и Волги.

Многие гидронимы Смоленщины содержат элементы балтийских языков, что свидетельствует о древних взаимоотношениях славянских и Балтийских племен. Например, в названиях реки и озера *Рутавечь* и реки *Царевич* присутствует финноязычный элемент *веси* – “вода” (*Саари-веси*, *Раута-веси*). *Вязьма* и *Осьма* содержат топоформант *-ма* (фин. *маа* – “земля”), что позволяет предположить финно-угорское происхождение названий этих рек. Балтоязычный термин *an* (*ане*, *упе*) со значением “река”, “вода” входит в состав гидронимов *Каспля*, *Вопь*, *Вопец*, возможно и *Ипуть*. К названиям, имеющим балтийское происхождение, можно отнести гидронимы, произошедшие от географических терминов: *Челкна* – “устье”, *Лучеса* (*Лучесянка*) – “лука, излучина”; названий-характеристик – *Стабна* “каменистая”, *Дыма* “темная”; от именовании животных и растений – *Обиша* “осина”, *Лемна* – “вяз”, *Колпита* – “лебедь” [2].

Несмотря на высокую степень устойчивости гидронимов во времени, в русской топонимике встречаются гидрообъекты, которые подверглись переименованию, и их прежние названия остались в памяти

народа лишь благодаря тому, что с ними связаны какие-либо важные исторические события. Примером таких “забытых” имен может служить гидроним *Ведрошь* (ныне река *Сельня*). До наших дней он дошел лишь в составе названия исторического события – битвы на Ведроши в 1500 году под Дорогобужем у села Ведроши. Смоленщина в то время находилась под властью Великого княжества Литовского. Битва состоялась 14 июля 1500 года и закончилась полным разгромом литовской рати. Для того времени сражение было довольно крупным (в нем участвовало более 20 тысяч человек) и заняло достойное место в ряду побед российской армии. Успех московского войска закрепил взятие Дорогобужа, сделал безопасными подступы к Вязьме, западному форпосту Москвы и позволил обратить Дорогобуж в плацдарм для дальнейшего продвижения к Смоленску и взятия его [3].

К географическим названиям, отражающим историческое прошлое региона, относятся и многие другие гидронимы. Древнее Смоленское княжество, являясь приграничной территорией и находясь на знаменитом пути “из варяг в греки”, имело торговые отношения с Прибалтикой, Польшей и немецкими землями. Купцы плыли по рекам и перетаскивали суда по суше из одной судоходной реки в другую, например, река *Переволочна*, название которой связано со словом *волок* – пространство между реками, по которому переволакивали суда. Перемещение по суше судов и грузов и возникновение поселений в этих местах характерно для пути “из варяг в греки” [4].

Социальное положение большинства людей, а также черты характера человека также находят свое отражение в названиях гидронимов, например, *Холоповка*, *Самодуровка*.

Помимо отражения исторических реалий, названия рек могут содержать и информацию о роде занятий людей, населявших их берега. Например, гидроним *Рачевка*, вероятно, произошел от существовавшего ранее в русском языке глагола *рачить* со значением “ловить раков”. На речке *Зимоловке*, вероятно, занимались подледным ловом; на берегах речки *Пряльня* основным занятием женщин было изготовление пряжи. На территории Смоленской области существует гидроним *Жерновка*. Название это река получила, возможно, благодаря тому, что из прибрежного плитняка делали мельничные жернова. Гидроним *Жарна* связан с производством древесного угля (в основном для кузниц и домен). Видимо, вдоль реки вырубались леса для выжигания угля [5]. Наименование *Буда* также характерно для топонимии верховьев Днепра. На данной территории отмечается большое количество населенных пунктов с этим названием, а также река *Буда*. В “Толковом словаре живого великорусского языка” В.И. Даля слово *буда* отмечается со значением “заведение в лесу, для выварки поташу, сидки смолы, дегтя; селитряный завод” [5]. Это говорит о том, что в таких местах основным был лесной, *будный* промысел.

Существуют и народные этимологии, связанные с местными легендами, например, рассказ о реке *Глазистой*: когда Екатерина II проезжала мимо этой речки, ей что-то попало в глаз. Императрица промыла глаза водой, и с тех пор река носит имя *Глазистой*. По другой версии, Екатерина подивилась чистоте воды в реке, сказав, что этой водой можно глаза поутру умыть. Другой пример – гидроним *Ширбоширка*. Пожилые люди называют эту реку *Чревомиркой*, так как, согласно бытующей легенде, в древности она мирила в своем чреве враждовавшие народы. Происхождение названия *Ширбоширка* местное население объясняет тем, что после сооружения плотины река стала значительно шире, чем прежде.

Народная этимология не учитывает истории и реальности лиц или событий, зато почти всегда есть красивая легенда. Указанные “этимологии” не являются научным прочтением слова, но в них выражены творческие способности народа, его мировоззрение и духовные устремления.

Литература

1. *Топоров В.Н., Трубачев О.Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
2. *Махотин Б.А.* К живым истокам. Смоленск, 1989.
3. *Прохоров В.А., Шорин Ю.Н.* Битва на Ведроши // Смоленская область: Энциклопедия. В 2 т. Смоленск, 2003. Т. 2. С. 28–29.
4. *Бойцов О.Н.* Путь “из варяг в греки” в топонимии Смоленского края // Русская речь. 2001. № 5. С. 103.
5. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2000. Т. I. С. 136.

Смоленск



Братец и сестрица в русской народной волшебной сказке

© И. В. ЛЕДОВСКАЯ

Детские образы-типы брата (братьев) и сестры (сестер) имеются в целом ряде сюжетов, зафиксированных в Сравнительном указателе сюжетов [1].

Конкретное содержание сюжета определяет общие сословно-имущественные признаки брата и сестры. Так, для мотива взросления характерны *царевичи* (однако объектом запродажи становятся также *крестьяне*). *Крестьянские дети* – герои сюжетов с похищением и поисками, прохождением испытаний, чудесным спасением от преследования и разоблачением. Как *царевичи*, так и *крестьяне* существуют в сюжетах с преследованием вредителя, с колдовством; в сюжетах с похищением ягой возможны *барские дети*; в сказках о чудесном разоблачении – *поповичи*. Доминирующие сословно-имущественные признаки *“царевичи/крестьяне”* в сказке с персонажами-детьми вполне автономны, в соответствии с утверждением Е.С. Новик о том, что “крестьянское и царское являются самостоятельными, скорее своего рода локальными, сферами, внутри каждой из которых развивается сюжет” [2].

Имена собственные – знак принадлежности персонажей к определенной сословно-имущественной категории (Иван-царевич и Марфа-царевна), важный компонент внешней или психологической характеристики (Елена Прекрасная). Имя сестры может опускаться: Вася и “девушка”, “сестренка”. Наричательные наименования подчеркивают обобщенность образа и, как правило, акцентируют родственные связи: “двойники, сын да дочь”, “детки родные”, “царские дети”, “родимый братец”, “сын любимый”. Уменьшительно-ласкательная форма наименований родства и имен предполагает сочувствие, умиление: “деточки”, Ванюшка, Танюшка;

однако в сюжете с чудесным разоблачением имеет место совпадение с поведенческой характеристикой брата и антитеза поведению сестры: Иванушка, Аленушка, “братец”, “брат мой Иванушка”, “сестрица моя Аннушка”; “парнишко”, “две милы сестры, две голубушки”.

Царевич и его сестры, подвергающиеся похищению в сюжетах *Три подземных царста*, *Катигорошек*, *Животные-зятья*, идеально прекрасны. Об этом свидетельствуют имена сестер: старшую дочь “назвали Луною”, вторая дочь “красотою своею гораздо превосходила сестру свою, почему и назвали ее Звездю”. Затем царица родила сына – “прекрасного юношу”. “Красоты неписаной” могут быть только Луна и Звезда: “такие они красавицы были, уму непостижимо!”, все “дивуются на них”, “всякий желал их красоту видеть”. Младший брат, Иван-царевич, характеризуется психологически: “такой умный, разумный”. Вещный мир девочек живописен: диковинный бал, сад; их ищут, глядя в “необыкновенные зеркала”, “в лесах” и “в море”. Брат на поиски сестер отправляется “без всего, только с родительским благословением”.

Сестра – “красная девушка”, “красавица”, “ее красное солнышко раздумянило, хорошенькая она”; внешность брата неординарна в сюжете *Братец и сестрица*. Имена собственные имеют и сестра, и брат: Аленушка и Иванушка, Ванюшка и Машенька; только сестра: Аленушка; используются обобщенные наименования: *паренек* и *девушка*. Привлекательность козлика, которым стал мальчик, акцентируется уменьшительно-ласкательными формами: *козленочек*, *козелок*, *козелик*, *козелочек*, *казельщик*, *беленький баранчик*.

В сюжете *Чудесные дети* необычна внешность всех детских персонажей, но имена отсутствуют. Комбинация внешних характеристик различны: сестра от рождения “прекрасна”: “такая красавица – просто ужасты!”; братья – “такие молодцы, что ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать”. Характеристики даны в традиционных формулах: “как улыбнется – посыплются розовые цветы, а как заплачет – то дорогой жемчуг!”; светозарны все дети: “Вот она третьего выюноша родила: по локти ручки в золоте, по колена ножки в серебре, по бокам часты звезды, во лбу светел месяц, а в затылке красно солнце”. Светозарные дети привносят в мир чудо, утверждая добро и справедливость.

Пассивность персонажей сказок с мотивом *взросления* обуславливается возрастом и социальным положением: дети “малы, царством управлять еще не могли”, “скачали об отце и матери”, “из дворца никуда не выходили”; “в прекрасный майский день” “пошли в сад прогуляться”; царевич слушает “сказочки” “любимого конюха”; дети в укрытии “дожидаются” антагониста. Единые поведенческие характеристики проданных детей усиливают драматичность сюжетной коллизии: подросшие “деточки” отправлены матерью “куда головой стоишь”; дети прекрасно учатся, “приезжают на каникулы домой” и, “подслушав” разговор отца с антагонистом, уходят “куда голова несет”.

“Царевны воспитаны и учены с великим попечением”; для них “выписали придворных всяких”; в день рождения устроен “бал дикий”; “пошли они в зеленые сады гулять с своими нянюшками и мамушками”. Младший брат “обучился разным рыцарским наукам”; “на дворе похаживает, лучком-тамарчиком постреливает”; самостоятелен в поступках: “хочет идти сестер разыскивать!”.

Активными персонажи становятся в преддверии опасности: царевич задабривает пищу медведя; просит у отца коня. Дети обращаются за помощью или принимают услуги животных и птиц, улетают от “злой мачехи” и верной смерти на волшебной корове; сын с отцом едет “в лес за дровами”, где узнает о запродаже; сестра “насилыно пошла с братом”. Дети живут у “полесовщика”, девочка “стала избенку подметать, обед варить”, мальчик помогает приемному отцу.

Братья и сестры в сюжетах с *испытаниями, похищением и поисками, преследованием и колдовством, чудесным разоблачением и спасением* находятся перед выбором: как вести себя в чужом месте, с опасным вредителем? Заблудившимся в лесу детям помогают не слезы и просьбы “не есть” их, а умение и смекалка. По заданию яги они топят “баньку”, прилежно исполняя свои роли: мальчики “дрова пилят и колют”, девочек “птичка-синичка” учит носить воду решетом. “Хорошо” моют “детушек” яги; хозяйку называют “бабушкой”. По возвращении устраивают гулянье: “Вырядились они и пошли по деревне. Мальчики на гармонии играют, а девочки пляшут”.

Маленький *братец, похищаемый ягой*, беззащитен: во время прогулки “вырвало из рук няньки дитятю и унесло неизвестно куда”; “Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крылышках”; “Сизой Орел спустился на землю и когтями своими схватил брата их”. Старшие сестры (сестра) должны проявить активность: “худо будет от отца и матери”; родители “неутешно плакали”. Родителей обманывать нельзя: “ходила по чистым полям, и по всем дремучим лесам, но не нашла своего братца”. Ягу, наоборот, следует обмануть: “Я ходила по лесам, по болотам, измочилась, иззябла, зашла к тебе погреться!”; “заблудилась и зашла в сию избушку переночевать, а брата у меня никакого нет”. В избушке яги нужно действовать решительно: “увидела” брата, “подкралась и унесла”; “баба-яга уснула. Она взяла брата, понесла домой”. Малое дитя, оказавшись в волшебном мире, не удивляется этому: “играет золотыми яблочками”, “кот Еремей ему сказки рассказывает и песни поет”.

Поведение детей, *подвергающихся преследованию ведьмы, колдовству*, обусловлено психологически: заботливая старшая сестра оберегает любимого братца. Причиной нарушения запрета становится нетерпение: “жар донимает” или любопытство: “сестрица не велела лизать сальца”. Зачарованный братец остается подвижным, шаловливым существом: «прыгает перед Аленушкой и кричит: “Ме-ке-ке! Ме-ке-

ке!»; “по травке скачет”; “надел колышко на рога, бежит к Оленушке”; “идеть за ней, бякаить”. Аленушка “залилась слезами, села под стожок – плачет”; упрекает братца: “Я говорила тебе: не пей!”, “Ведь я тебе наказывала, чтобы не лизал сальце; а ты не послушал-таки меня!..”.

Образ братца эмоционально насыщен: “прибежал к морю, стал на берегу и жалобно закричал”; “печалился, повесил голову, не бирал корму и утро и вечер ходил около воды по бережку да кричал”; “споведал, что ему недолго жить, лег на бережку и причитывает”; “ходит на бережок и горько плачет, приговаривая”; “придут колоть его, а он поет песню им”; брошенный “в море, в озеро”, просит сестру: “Возьми ты меня: либо совсем утопи, а то вытащи меня”.

Исследователи обращают внимание на то, что «в сказке “Братец и сестрица” сохранилась древняя обрядовая песня жертвоприношения козла» [3]. Отметим также, что братец в сказке – не столько чудесное животное, сколько страдающее, ожидающее помощи дитя. “Аленушка, сестрица моя!”, “сестричушка”, “сестрица родима”, “сестричка”: он зовет не хозяйку – сестру. И для нее это – “братец мой, царевич”, “мой братец, а не козельчик”, “Иванушка, родимый мой”, без него “жить не буду”.

Итак, типологическая характеристика образов брата и сестры в русской волшебной сказке (детализация внешности и вещного мира, поведение, функции) обуславливается конкретным содержанием сюжета.

Литература

1. Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Л., 1979.
2. Новик Е.С. Система персонажей русской волшебной сказки <http://www.ruthenia.ru/folklore/novik8.htm>
3. Зуева Т.В. Русский фольклор: Слов.-справ. М., 2002. С. 226.



Игры в “Вечерах на хуторе близ Диканьки”

© А. А. ПОЛЯКОВА

Народное смеховое начало является основополагающим для поэтики гоголевских “Вечеров...”. Это заметил еще М.М. Бахтин, сказав об этом цикле: “Еда, питье и половая жизнь в этих рассказах носят праздничный, карнавально-масленичный характер” [1]. Или место действия повести – ярмарка, или сюжетное время совпадает с каким-либо знаменательным календарным периодом, или свадьба становится завязкой действия.

Неотъемлемой частью традиционного праздника всегда были игры. Рассмотрим их роль в структуре “Вечеров...”. Игры, встречающиеся в “Майской ночи” и “Пропавшей грамоте”, по своему происхождению и сущности представляют собой два совершенно разных типа. Игра, заявленная в “Майской ночи”, – обрядовая, т.е. исполняется только в составе конкретного обряда и именно в нем приобретает смысл. Игра, изображаемая в “Пропавшей грамоте”, – карточная, азартная, имеет абсолютно иные функции: победить (“оставить в дураках”) соперника и выиграть то, что положено в качестве ставки. Однако в повестях Гоголя эти игры утрачивают то значение, которое они имеют в народной культуре, и выполняют новые функции.

В “Книге всякой всячины” Гоголя отмечаются два описания обрядовой весенней игры в ворона. Первое – довольно кратко и передает лишь действенную часть игры. Второе же, обозначенное как “из письма 2 июня”, видимо, присланное родными, изложено очень подробно и представляет собой сложную систему игры, состоящую условно из пяти частей. Эту запись мы и возьмем в качестве примера народной, а затем сопоставим с той же, но уже функционирующей в рамках художественного произведения.

Любая игра – это изобразительное действие, в котором словесная часть, если она есть, подчиняется первейшему элементу игры, т.е. действию. В древности игра имела практическое значение и как развлекательное занятие (игра ради игры) не воспринималась. Позже этот период был назван третьим состоянием синкретизма [2], в игре выделились разные виды искусства, и их совместное существование способствовало возникновению чисто художественной, эстетической функции игры. Между тем в играх как древнейших формах фольклора сохранились отголоски практических целей, которые преследовали подобные игровые действия в прошлом.

Итак, игра в ворона, по описанию Гоголя, – это комплекс действий, сопровождаемых словесными формулами. Можно даже сказать, что словесная часть в этой игре выражена ярче и интереснее, чем само действие. Первая часть представляет собой однотипный диалог между вороном и матерью со сменой в ответе животных и, следовательно, совершаемых после ответа действий. Во второй части ворон ловит детей, а мать при этом пытается его отвлечь и “заговаривает о постороннем” [3]. В третьей происходит погоня ворона за старшей дочкой, также с предшествующим диалогом между вороном и матерью. Словесная “перепалка” в четвертой части заканчивается тем, что дети “кричат изо всех сил ему [ворону] на уши до того, что он уже сделается смирнее” [3]. И в последней части все прячутся, а ворон отыскивает, и когда всех находит, то игра заканчивается.

Очевидно, что игра в ворона – реликт древней “охотничьей” игры, т.е. ловли. В ней сохранились и мифологические представления славян: противостояние ворона и людей, а именно матери и детей как наиболее беззащитных членов общества. Образ ворона же всегда воплощал грозное, опасное начало, связанное со сферой “чужого”, недаром ворон является атрибутом ведьм и колдунов. Образы, которые встречаются в диалогах ворона и матери, как правило, придумываются по ходу игры, и только последний является общеизвестным для участников, а его название призвано спровоцировать определенные действия. Произносимые в ходе игры слова можно разделить на следующие семантические группы: 1) зоологические образы: волк, гусь, жаба и др. (первая часть игры); 2) домашняя утварь: кочерга, помело, макогон и т.д. (третья часть); 3) предметы женской одежды: плахта, запаска и пр. (четвертая часть).

Образы животных имеют своим источником мифологические воззрения; предметы домашнего обихода, называемые в игре, призваны служить средством защиты от внешних врагов, а части женской одежды сообразуются со свадебным ритуалом (тем более, что в данном случае речь идет о старшей сестре). Таким образом, народная игра в ворона сохранила в себе отголоски представлений о “чужом”, опасном для человека в окружающем мире, и о способах защиты, оберегах. Кроме того, это весенняя обрядовая игра, несомненно, связанная с идеей похищения урожая и животного приплода. Но на более позднем этапе приобретает уже чисто эстетическую функцию, сохраняя лишь связь с календарными обрядами.

В повести “Майская ночь” в ворона играют персонажи народной демонологии – русалки. Однако Д.К. Зеленин, автор известной работы о русалках, утверждает, что “из особых русалочьих игор источники наши указывают на следующие: пинские русалки *катают яйца* во ржи в Навский велик день<...> Херсонские русалки *играют пылью* на дороге” (курсив автора. – А.С.) [4]. Следовательно, в фольклоре не встречаются свидетельства об игре в ворона русалок, но именно эта игра намеренно введена Гоголем в эпизод повести.

Итак, одну из русалок выбирают играть роль ворона, она нехотя подчиняется, но позднее отказывается из-за того, что ей жалко отнимать “цыплят” у “матери”. Другая русалка берет на себя эту роль, и в процессе “ловли” Левко признает в ней ведьму и указывает на нее панночке-русалке. Следовательно, введение игры в ворона в художественную ткань произведения преследует несколько целей. Во-первых, дает психологическую характеристику персонажу. С одной стороны, возникает образ доброй, жалостливой русалки, которая отказывается играть роль ворона. С другой стороны, перевоплотившаяся ведьма, с радостью соглашающаяся на эту роль, тем самым выдает свою коварную и злобную сущность. Во-вторых, игра в ворона раскрывает общий образ русалки, который не соответствует традиционным народным представлениям о вредоносной сущности этого демонического персонажа. Наоборот, русалки в “Майской ночи” обрисованы беззащитными существами, которые даже не обладают способностью угадать “чужака” в своей среде.

Далее, именно игра в ворона оказывается самым верным способом распознавания среди русалок ведьмы, тем самым приобретая практическое значение как средство узнавания нечистой силы. Получается, что в игре, которая изображена в художественном произведении, приобретает реальное воплощение то, что в игре обрядовой, народной скрывалось за мифологическими образами, а именно: вороном, таящим грозную опасность для “матери” и “детей”, становится ведьма, погубившая свою падчерицу – несчастную панночку.

Таким образом, в повести игра имеет важную цель – найти, распознать и изловить реального врага. Кроме того, не следует забывать и о

чисто этнографическом аспекте изображения игры в ворона. Ведь одной из задач создания цикла было и отражение малороссийских обрядов, верований и обычаев. В письме к матери от 22 мая 1829 года Гоголь просит ее “узнать теперь о некоторых играх из карточных: у Панхвиля как играть и в чем состоит он? равным образом, что за игра Пашок, семь листов? из хороводных: в хрещика, в журавля. Если знаете другие какие, не премините” [5]. Введение игры в ворона явилось и иллюстрацией одной из популярных в народе весенних обрядовых игр, сопровождаемой пением веснянок и карнавальными бесчинствами.

Рассмотрим теперь игру в дурня. Тема карточной игры и ее роль в жизни человека в русской литературе 20–30-х годов была очень актуальной. И связано это было, конечно же, с бытом той эпохи, со сложившейся социальной иерархией, с проблемой *случайного* в жизни, карьере, судьбе человека. “Нельзя не заметить, что весь так называемый петербургский, императорский период русской истории отмечен размышлениями над ролью случая <...> фатумом, противоречием между железными законами внешнего мира и жаждой личного успеха, самоутверждения, игрой личности с обстоятельствами, историей, Целым, законы которых остаются для нее Неизвестными Факторами. И почти на всем протяжении этого периода более общие сюжетные коллизии конкретизируются – наряду с некоторыми другими ключевыми темами-образами – через тему банка, фараона, штосса, рулетки – азартных игр” [6].

Изображение карточной игры в литературе становится выразителем более глубокого, мистического столкновения человека и Случая, судьбы и рока, фатума: “азартная игра – модель борьбы человека с Неизвестными Факторами” [6]. Принципиальным моментом в данном случае является то, что соперником в игре, жизненной ли, карточной, объявляется нечто, не имеющее конкретного воплощения, а называемое роком, фатумом, Случаем, Неизвестным, несущее в себе разрушительное начало. К этой теме обращались Пушкин, Лермонтов, встречается она и у Гоголя в “Пропавшей грамоте”, но, исходя из глубоко православного мировоззрения писателя, получает качественно иную трактовку.

Помимо общей для романтической литературы тенденции к изображению карточной игры в фольклоре также обнаруживается сходный сюжет: игра с нечистой силой. В “Сравнительном указателе сюжетов: Восточнославянская сказка” под № 1060 значится “Игра в карты на орехи, щелчки и т.п.: человек обыгрывает черта” [7]. На взаимодействии фольклорных и литературных мотивов и строит писатель сюжет “Пропавшей грамоты”, однако решает конфликтную ситуацию по-своему.

Начнем с того, что из известных Гоголю карточных игр, зафиксированных в “Книге всякой всячины” (“у лавы”, “у Пахвиля”, “Пашок”), он выбирает игру в дурня, сведений о которой в записной книжке не встречается, но которая, несомненно, широко известна и по сей день. Видимо, подобная популярность по причине незамысловатых правил и обуслови-

ла выбор именно этой игры. С другой стороны, здесь, как и в прочих азартных играх, исход зависит от воли случая, от розданных или набранных в колоде карт. Таким образом, тема судьбы, случая оказывается решающей и для повести “Пропавшая грамота”.

Итак, герой повести, называемый рассказчиком “дедом”, попадая по своему желанию в “пекло”, понимает, что выбраться отсюда ему будет не так просто. И действительно, платой за то, чтобы снова оказаться на земле, становится выигрыш в карточной игре, т.е. ставкой в игре в дурня является жизнь и душа героя. Во общем-то, случай, когда на кону карточной игры стоит жизнь человека, – довольно распространенное явление в романтической литературе: «Отождествление игры с убийством, самоубийством, гибелью (“Пиковая дама”, “Маскарад”, “Фаталист”), а противника – с inferнальными силами (“Пиковая дама”, “Штосс”) связано с интерпретацией случайного как хаотического, деструктивного, сферы энтропии – зла» [6]. Однако в повести Гоголя мы сталкиваемся с ситуацией, когда Случай или, более сниженный вариант, везение/невозможность властен и над нечистой силой: “К счастью еще, что у ведьмы была плохая масть <...>” [8]. Значит, существует еще какая-то сила, которая управляет случаем и которую невозможно преодолеть демонам.

Игра в дурня в повести “Пропавшая грамота” состоит из трех конов. *Три* – традиционное число в фольклоре, причем именно третье становится решающим: три брата – младший является героем; три царства – в третьем и находится невеста героя; из трех задач третья – самая трудная. И в этом случае Гоголь не отступает от традиции. Первую партию дед сразу же проигрывает, поскольку у него не оказывается козырей. Во второй вроде бы козырей на руках много, но они превращаются в простые масти. И здесь имеет место колдовской прием обморочивания, насылания морока, когда вместо одного представляется совершенно другое. И, наконец, в третьей партии, когда уже решается судьба, “дед карты потихоньку под стол – и перекрестил; глядь – у него на руках туз, король, валет козырей” [8].

Тем самым единственным спасительным способом одоления нечистой силы в карточной игре оказывается крест, перекрещивание. В быличках с традиционным сюжетом о встрече человека с демонологическим персонажем в “опасном” месте благополучный исход предreshает или сотворение человеком крестного знамения, или даже простое произнесение имени Бога.

В произведениях романтизма герой не в силах противостоять “Неизвестным Факторам”, року, воплощающимся в демонических образах, и потому гибнет. У Гоголя подобная ситуация столкновения человека с inferнальными силами разрешается в фольклорном ключе: нужно обратиться к Богу, поверить в спасительную силу креста. Для одних его героев это является залогом благополучного исхода событий (как для Вакулы), другие, не восприняв этой истины, забыв о ней, гибнут (Петро

Безродный), третьи обращаются слишком поздно (Хома Брут). “Церковь – вот кто служит <...> надежным якорем в море соблазнов и бед” [9].

Карточная игра в дурня в “Пропавшей грамоте” становится испытанием для героя, в которой побеждает сила его веры, а исход игры оказывается предпрешенным высшими силами.

Литература

1. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 485.
2. Аникин В.П. Теория фольклора. Курс лекций. М., 2004. С. 170, 168.
3. Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т.9. Л., 1952. С. 512.
4. Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: умершие неестественной смертью и русалки. М., 1995. С. 192.
5. Гиппиус В.В. Гоголь. Воспоминания. Письма. Дневники... М., 1999. С. 32.
6. Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995. С. 793–794, 812.
7. Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка. Л., 1979. С. 260.
8. Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1. М., 2001. С. 143.
9. Манн Ю.В. Гоголь. Труды и дни: 1809–1845. М., 2004. С. 241.





“За восемь бед — один ответ”

Пословицы в поэзии Владимира Высоцкого

© В.Г. ДОЛГУШЕВ,
доктор филологических наук

Одним из основных источников творчества В.С. Высоцкого всегда была народная речь, из которой он черпал многие образные выражения для своих стихов.

Поэт активно использовал пословицы, которые отражают ум и наблюдательность человека из народа, его оптимизм и живость воображения. Часто он обыгрывает пословицу или фразеологизм.

Будто знают — игра стоит свеч.
Это будет как кровная месть городам!
Поскорей, только б свечи не сжечь,
Карбюратор, и что у них есть еще там.

В этой “Песне о двух красивых автомобилях” Высоцкий обращается к двум значениям слова *свеча* – “палочка из жирового вещества с фитилем внутри, служащая для освещения” и “приспособление для воспламенения бензина в двигателе автомобиля”. Но начинает песню с поговорки “Игра стоит свеч” со значением “Цель оправдывает средства, затраченные на ее достижение” [1].

В стихотворении “Разбойничья” поэт трансформирует поговорку, многократно варьируя ее вторую часть. Пословица “Сколь веревочку ни вить, а концу быть” со значением “Неблаговидные дела, поступки и т.п., сколько бы ни продолжались, становятся всем известны, им приходит конец” приводится четыре раза и каждый раз – в наполовину измененном виде. При этом приеме всякий раз появляется ощущение неизбежности плачевного конца героя:

Сколь веревочка ни вейся –
Все равно совьешься в кнут.
Сколь веревочка ни вейся –
Все равно совьешься в плеть.
Сколь веревочка ни вейся –
Все равно укоротят.
Сколь веревочка ни вейся –
А совьешься ты в петлю.

В стихотворении “Летела жизнь” поговорку “Бог не выдаст, свинья не съест”, которую произносят “в беспечной уверенности, что все обойдется, кончится благополучно”, Высоцкий мастерски использует для создания образа главного героя, подвергнувшегося сталинским репрессиям. На примере судьбы одного человека показана трагедия целого народа:

Я сам с Ростова, а вообще подкидыш –
Я мог бы быть с каких угодно мест, –
И если ты, мой Бог, меня не выдашь,
Тогда моя свинья меня не съест.

Иногда на основе поговорки Высоцкий выстраивает всю образную структуру стиха. Например, выражение “Укатали Сивку крутые горки” со значением “Тяжелые условия жизни, испытания, годы и т.п. сломили чьи-то силы, сделали безразличным, слабым, больным” стало образным стержнем стихотворения “Сивка-Бурка”:

Кучера из МУРа укатали Сивку,
Закатали Сивку в Нарьян-Мар, –
Значит, не погладили Сивку по загривку,
Значит, дали полностью “гонорар”.

Пословица “Семь бед – один ответ” говорится тогда, “когда кто-либо, зная за собой какие-либо проступки, снова идет на риск, готовый от-

вечать за все сразу”, у Высоцкого оригинально видоизменена: “За восемь бед – один ответ”.

Встречаются в его стихах и пословицы книжного происхождения.

Латинская пословица “Все пути ведут в Рим” выступает как емкий художественный образ в стихотворении “Проложите, проложите хоть туннель по дну реки ...”:

А когда сообразите: все пути приходят в Рим,
Вот тогда и приходите, вот тогда поговорим.

Пословица библейского происхождения “Нет пророков в своем отечестве” звучит горьким рефреном в песне “Я из дела ушел ...” – одного из программных стихотворений поэта:

Мы многое из книжек узнаем,
А истины передают изустно:
Пророков нет в отечестве своем, –
Да и в других отечествах негусто.

Многие строчки Владимира Высоцкого сами стали крылатыми выражениями. Они широко употребляются в разговорной речи, цитируются в средствах массовой информации. Это и понятно: его поэзия давно стала народной. Например: “Где деньги, Зин?”; “Жираф большой – ему видней”; “Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал”.

Литература

1. Определения значений пословиц цит. по: Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. 5-е изд. стереотип. М., 1993.

ЛИТЬ КОЛОКОЛА

© Т. В. ШАЛАЕВА

Выражение *лить колокола* в XIX веке широко употреблялось в значении “врать, распускать ложные слухи”. Его происхождение традиционно связывается со старым обычаем рассказывать всевозможные небылицы во время отливки колокола. По поверью, чем многочисленнее и причудливее будут эти истории, тем звонче получится колокол [1. Т. II; 2. С. 269–270; 3. С. 124–125; 4. С. 580].

В.В. Виноградов принимал эту версию и таким же образом объяснял возникновение оборота *лить пули (пушки)* “лгать” [2. С. 269–270].

Другую этимологию предлагает В.М. Мокиенко. Он приводит множество лексем и словосочетаний, родственных глаголу *лить*, из русского и других славянских языков со значением “ложь, обман”. Это значение появилось из исходного “движение жидкости” в результате уподобления непрерывного плавного течения звучащей речи потоку воды [5. С. 144–145]. «Развитие фразеологизма следует рассматривать как наращение глагола *лить* в значении “лгать, обманывать”» [4. С. 580], подобно словосочетаниям *галоши заливать; арапа заливать; заливать анекдоты* и т.п. Появление же описанного нами обычая связывается с народно-этимологическим переосмыслением словосочетания *лить колокола*, в результате которого оно было связано с литейным делом [4. С. 147]. А поверья и легенды часто рождаются из крылатых выражений как попытки объяснить их происхождение [6].

Взяв за основу версию В.М. Мокиенко, можно рассмотреть происхождение этого фразеологизма с другой стороны. Дело в том, что в русском языке для обозначения распространяемых слухов и сплетен нередко используется метафора колокольного звона: например, диалектное *колоко́лить* “сплетничать, распускать слухи о ком-, чем-л.; заниматься пересудами, судачить (новг., ворон., перм.)”, “врать, преувеличивать, привирать (урал., свердл.)” [7. Вып. 14. С. 165]; *в колокола́ звонить* “повсюду рассказывать о чем-л. (перм.)” [8. Т. 2]; *звони́ло* “сплетник (астрх.)” [7. Вып. 11. С. 233]; *звонюга* “сплетник, сплетница (пск., твер.)” [Там же].

Такое значение могло появиться напрямую из *звонить в колокол* “издавать звук, слышимый на большом расстоянии”, или *звонить в колокол* – “говорить много, громко (и быстро)”, например, диалектное *колоко́лить* “громко говорить, разговаривать (вят., сев.-двин.)”; “говорить быстро, не останавливаясь; тараторить (твер.)”; *колоко́литься*

“браниться, ругаться (арх.)” [7. Вып. 14 С. 165]; *колокол* “о шумном человеке (карел.)” [9. Т. 2]; колоколец “прозвище словоохотливого разговорчивого человека (волог.)” [7. Вып. 14. С. 164]; *колоко́лка, колоколúха* “разговорчивая, болтливая женщина (карел.)” [9. Т. 2]].

Значение “говорить много” подразумевает и “попусту говорить, болтать”, например, диалектное *колоко́лить* “говорить много без толку о чем-л. незначительном или о том, о чем не следует; болтать (волог., костром., арх., твер., ленингр.)” [7. Вып. 14 С. 165]; *колоко́л* “о человеке, болтающем вздор, пустяки; пустослов, пустозвон (перм.)” [Там же. С. 164] или *звона́рить* “вести долго пустые, бесплодные разговоры (олон.)” [7. Вып. 11. С. 221]). Значение “говорить много” логично переходит в “говорить неправду, рассказывать небылицы”.

Аналогичное развитие представлено в словообразовательном гнезде глагола *лить* – “говорить много”. Для сравнения возьмем русские литературные слова: *литься* “о легкости, свободе речи, выражения мыслей, чувств” и *словоизлияние* “многословное взволнованное изложение своих мыслей, чувств, переживаний” [10]. Русскому литературному обороту *переливать из пустого в порожнее*, соответствует *говорить пустяки* или, например, омское диалектное *воду переливать*, и новгородское *лить да переливать* [7. Вып. 26. С. 144] “пустословить”; *лей-перелей* (влад.), *лей да перелей* (твер.) “веселая болтовня, шутливые речи, балясы” [7. Вып. 16. С. 341]). Русское литературное *заливать* “врать” [10. Т. 4] соответствует диалектным *отливать* (арх.) [7. Вып. 24. С. 226]; *сли́тик* (калуж.) “ложная молва, неправда” [7. Вып. 38. С. 285]).

Эти многочисленные параллели позволяют предположить возникновение выражения *лить колокола* как одного из вариантов метафорического обозначения сплетен, болтовни и словоохотливости через “колокольную” лексику. В таком случае во внутренней форме этого словосочетания важен компонент “музыкальный инструмент с громким звучанием”, а не “медеплавильное производство” или “поток речи”, как предполагали В.В. Виноградов и В.М. Мокиенко. И только позднее эта идиома получила “литейную” интерпретацию и породила известный обычай.

Подтверждением этому может служить рассказ В.А. Гиляровского из сборника “Москва и москвичи”. Говоря об антикварном рынке на Сухаревской площади, он писал: “Время от времени около этих рогож появляется владелец колокольного завода, обходит всех и отбирает обломки лучшей бронзы, которые тут же отсылает домой, на свой завод. Сам же направляется в палатки антикваров и тоже отбирает лом серебра и бронзы.

...Колокол льют! Шушукуются по Сухаревке – тотчас же по всему рынку, а потом и по городу разнесутся нелепые рассказы и вранье. <...> С восьмидесятых годов, когда в Москве начали выходить газеты

и запестрели объявлениями колокольных заводов, Сухаревка перестала пускать небылицы, которые в те времена служили рекламой" [11].

Литература

1. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1995.
2. *Виноградов В.В.* История слов. М., 1994.
3. *Вартаньян Э.А.* Путешествие в слово. М., 1975.
4. *Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И.* Русская фразеология. Историко-этимологический словарь. 3-е изд., М., 2005.
5. *Мокиенко В.М.* Славянская фразеология. 2-е изд. М., 1989.
6. *Мокиенко В.М.* Народная этимология в исторической фразеологии // *Ad fontes verborum.* Исследования по этимологии и исторической семантике. К 70-летию Жанны Жановны Варбот. М., 2006. С. 228–244.
7. Словарь русских народных говоров. М.–Л.; СПб., 1965.
8. Словарь говора д. Акчим Пермской области (Акчимский словарь). Пермь, 1984-.
9. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1994–2005.
10. Словарь современного русского литературного языка. В 17 т. М.–Л., 1950–1965.
11. *Гиляровский В.А.* Соч. В 4 т. М., 1967. Т. 4. С. 58–59.



Отчество – одного корня со словом “Отечество”

© М. А. ГРАЧЕВ,
доктор филологических наук

По имени называют, по отчеству величают.
(Пословица)

Еще в 1970 году известный антропонимист А.В. Суперанская писала что факторы, определяющие идеологию общества, непременно оказывают влияние на имена [1]. Это утверждение, наверное, применимо и к употреблению отчеств.

Мы перенимаем не только английские слова, элементы латиницы, но и не свойственные российскому народу языковые этикетные правила. Во второй половине 80-х годов наше отчество “потеряло” отчество. То есть СМИ стали называть людей на западный манер, только по имени и фамилии: не Юрий Алексеевич Гагарин, а Юрий Гагарин, не Михаил Сергеевич Горбачев, а Михаил Горбачев, не Борис Ефимович Немцов, а Борис Немцов. В настоящее время все СМИ используют эту усеченную форму: имя + фамилия. Странно слышать по телевидению и радио, как пожилых, заслуженных людей зовут исключительно по имени. По имени и фамилии называют всех и газеты.

В настоящее время триединство употребляется больше для идентификационных целей, чем в качестве уважения.

Традиция называть друг друга по имени-отчеству ведется у россиян испокон веков. Это дань уважения к человеку, часть русского речевого этикета. Используя только имя и фамилию мы уподобляемся иванам,

не помнящим родства. Вспомним, с каким почтением в быlines обращались к знаменитому древнерусскому богатырю *Илье Муромцу*, "*свету Ивановичу*". Отчество всегда возвышало русского человека. Уважительное отношение россиян к отчеству отражено в словарях и в научной литературе. Так, в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой читаем: "отчество – наименование по личному имени. *По отчеству звать кого-н.* (т.е. уважительно)" [2].

Обычай называться по отчеству восходит к седой старине. По мнению исследователей, отчества стали появляться в XI–XII веках [3. С. 188]. Использование имени и отчества в дофамильный период изначально преследовало и практическую цель. "Оно не только отражало, – указывает лингвист С.И. Зинин, – уважение к памяти родителей, но и выступало юридически закрепленным знаком своеобразного права на имущественное, духовное и другое наследование от отца" [4. С. 187].

Трехленное именование людей – имя, отчество, фамилия – является особенностью русского языка. Эта формула возникла, по мнению Н.А. Петровского, в эпоху Петра I, потом распространилась на Украине и в Белоруссии, а затем и дальше, в других землях необъятной России [5]. "У русских традиционное именование по отчеству включает элемент уважения к человеку, а обращение без отчества воспринимается как фамильярное, свойское или неуважительное" [3. С. 188].

По мнению С.И. Зинина, форма вежливого обращения по имени-отчеству широко распространилась в устном общении. "И если при Екатерине II крестьяне и мещане не имели отчеств (официально их не писали), – пишет он, – то более активно, без учета классово-сословных особенностей, использовалась полная форма отчества на *-ович/-евич* в устном общении с оттенком уважительности к именуемому" [4. С. 193]. То есть именно простой народ способствовал повсеместному установлению данной уважительной формы. Такое обращение сохранилось до сих пор.

Принятие в России триединства далеко не случайно: в свое время оно приобрело даже сакральный смысл – как православная христианская Троица (Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой) была противопоставлена западноевропейской "двоице" (Богу Отцу и Богу Сыну).

Триединая модель (имя + отчество + фамилия) была принята почти всеми народами России и СССР. В России всегда было уважительное отношение к другим народам относительно антропонимов: известно, например, что у прибалтов, жителей Кавказа и Крайнего Севера при внутринациональном общении употреблять отчество не принято [4. С. 188]. Имя отца указывается лишь в официальных документах.

В конце 80-х годов СМИ "отобрали" у нас отчество. Любопытно, что сами журналисты часто представляются только по имени, даже без фамилии! Когда спрашиваешь отчество, обычно слышишь: "У нас так не принято!"

Двуетная форма (пусть даже имя будет и полным), как показывают наблюдения, вызывает другое нарушение этикетного характера: обращение к собеседнику на "ты", тогда как называние его по имени-отчеству подталкивает к "вы". То есть в русском этикете все взаимосвязано: одно зависит от другого. С одной стороны, мы вроде бы избавились от излишнего чинопочитания, с другой – обижаем многих людей.

Мне могут возразить, что в двуетной формуле (имя + фамилия) проявляется стремление языка к компрессии, но так ли это на самом деле? А может быть, данный факт – одно из проявлений "демократизации" и вульгаризации языка, смешения западноевропейского с нижегородским?

Литература

1. Суперанская А.В. Внеязыковые ассоциации собственных имен // Антропонимика. М.: Наука, 1970. С. 7–17.
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997.
3. Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. Л., 1991.
4. Зинин С.И. Русские отчества // Русская ономастика и ономастика России / Словарь. Под ред. О.Н. Трубачева. М., 1994.
5. Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. М., 1966.